SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- С. Н. Южаков
  -
  - Глава I. Воцарение Александра I и возвышение Сперанского
  - Глава II. Сперанский-реформатор
  - Глава III. Проведение реформы и борьба
  - Глава IV. Падение и ссылка
  - Глава V. Государственная деятельность второго периода
  - Источники
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

С. Н. Южаков
Михаил Сперанский
Его жизнь и общественная деятельность
Биографический очерк
С портретом М. М. Сперанского, гравированным в Лейпциге Геданом

Глава I. Воцарение Александра I и возвышение Сперанского

Отзыв Пушкина о Сперанском и начало правления Александра I. – Общая радость при его воцарении. – Оды Державина и Карамзина. – Общие ожидания и надежды. – Записка Каразина. – Намерения Александра. – Неофициальный комитет. – Задачи нового правительства. – Роль Сперанского. – Происхождение и рождение. – Родители и родные. – Детство и воспитание. – Владимирская семинария. – Александро-Невская главная семинария (духовная академия). – Профессорство и литературные опыты. – Секретарство у Куракина. – Воцарение Павла и служба при генерал-прокурорах. – Служебные успехи. – Личная жизнь и характеристика

"В прошлое воскресенье я обедал у Сперанского, – отмечает Пушкин в своем дневнике (2 апреля 1834 года). – Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра: *Вы и Аракчеев стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении зла и блага".* Так характеризует нам поэт значение своего знаменитого современника. "Гений блага" в начале царствования Александра I, начале, столь богатом благими начинаниями, – этим очень много сказано, и художественная образность этой метафоры только ярче, рельефнее выступает от сопоставления с "гением зла", стоящим у противоположных дверей того же правления. А что такое было начало царствования нового императора Александра I и как оно понималось и принималось современниками, об этом единогласно свидетельствуют все источники и все исследования.

Весть о вступлении императора Александра на престол "была в целом государстве, – по словам Карамзина, вестью искупления; в домах, на улицах люди плакали, обнимали друг друга, как в день Светлого Воскресенья". "В России Император Новый!" – восклицал тот же Карамзин в стихах, написанных по этому случаю:

Так милое весны явленье
С собой приносит нам забвенье
Всех мрачных ужасов зимы:
Сердца с природой расцветают
И плод во цвете предвкушают.
Весна у нас, с Тобою мы.

Это упоминание о *“мрачных ужасах зимы”,* которые должны быть забыты с воцарением Александра, еще недвусмысленнее находим у Державина в оде на это воцарение:

Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд, —

и поэтому-то “на лицах россов радость блещет”.

“Серьезное, конечно, соединялось с мелочным и пошлым”, – замечает об этом времени А. Н. Пыпин. “В первые моменты царствования, – рассказывает Саблуков, – общество предалось необузданной ребяческой радости. Как только узнали о смерти Павла, тотчас исчезли косички и букли, явилась строго прежде запрещенная прическа a la Titus, круглые шляпы и сапоги с отворотами; дамы оделись в новые костюмы, на улицах понеслись экипажи с запрещенною и еще не дозволенною вновь упряжью”. По другим рассказам, “Зубов, вскоре после катастрофы, устроил для своих сотоварищей оргию, на которой явился во фраке и жилете и метал банк, что строго было запрещено при Павле, – как будто весь переворот нужен был только для возвращения той нравственной разнузданности, к которой высшее барство привыкло при Екатерине”. Но, конечно, не все были только Зубовы, и та сословная оппозиция императору Павлу, которая сложилась к концу его правления, заключала в себе и Зубовых и Паниных. Последний – граф Никита Петрович, племянник известного Н. И. Панина, имел широкие преобразовательные планы. Но от этой оппозиции “желавшие только перемены государя, – замечает Фонвизин, – были награждены; искавшие прочного устройства отдалены навек”. Оппозиция (или часть ее) имела задачею “прочное устройство”. Александр не одобрил на этот раз ее стремлений, но не потому, чтобы в то время не разделял их. В минуту его воцарения это была общая ходячая мысль, которою увлекались даже консерваторы, вскоре с ужасом отшатнувшиеся от первых шагов ее осуществления.

Державин в упомянутой уже оде на воцарение Александра восклицает:

Народны вздохи, слезны токи,
Молитвы огорченных душ,
Как пар возносятся высокий
И зарождают гром средь туч:
Он вертится, падет внезапно

На горды зданиев главы.
Внемлите правде сей стократно,
О власти сильные, и вы!
Внемлите и теснить блюдитесь
Вам данный управлять народ.

Карамзин не менее, если не более, консерватор, чем Державин, выражается еще определеннее:

Короны блеском ослепленный,
Другой в подвластных зрит рабов;
Но Ты, душою просвещенный,
Не терпишь стука их оков.
Тебе одна любовь прелестна;
Но можно ли рабу любить?
Ему ли благодарным быть?
Любовь со страхом не совместна:
Душа свободная одна
Для чувств ее сотворена.
Сколь необузданность ужасна,
Столь ты, свобода, нам мила
И с пользою царей согласна,
Ты вечно славой их была.
Свобода там, где есть уставы,
Где добрый не боясь живет;
Там рабство, где законов нет,
Где гибнет правый и неправый.

В заключение ода рекомендовала Александру: “Трудись, *давай уставы нам* – и будешь первый по делам”. Если старое консервативное поколение, еще не оправившееся от “мрачных ужасов зимы” и еще не позабывшее “рев Норда сиповатый”, заговорило этим языком, то чаяния и желания молодого поколения были много определеннее и шли дальше. “Через несколько дней по восшествии на престол Александра, – читаем мы у В. И. Семевского, – была найдена во дворце восторженная записка, в которой, между прочим, выражались следующие чаяния от нового императора: “Он даст нам непреложные законы... Он повелит в пространстве России избрать старцев, достойных беспредельнейшей доверенности своих сограждан, и, поставив их вне сферы честолюбия и боязни, уделить им весь избыток своей власти, да охраняют святая святых отечества... Он первый употребит самовластие на обуздание самовластия;

первый, кто по чистейшему движению сердца пожертвует человечеству собственными выгодами!.. Он обеспечит права человечества в помещичьих крестьянах, введет у них собственность, поставит пределы их зависимости". Автором записки был В. Н. Каразин, поощренный Александром в его идеях. Таковы были задачи и надежды, с которыми встречено было новое царствование. Таковы же были задачи и надежды, с которыми и сам молодой император принимал бразды правления после того, как так быстро, по выражению Державина, "закрылся грозный, страшный взгляд".

"Я никогда не буду в состоянии привыкнуть к идее царствовать деспотически", – писал Александр вскоре по воцарении своему воспитателю Лагарпу, с ранней юности заложившему в его душу любовь к свободе и отвращение к произволу. Идея преобразовать правление в России была прямым следствием этого настроения, и мы имеем в воспоминаниях князя Адама Чарторыйского, состоявшего при Александре в последние годы правления Екатерины II, весьма интересное свидетельство: "Великий князь (то есть Александр), – читаем мы у А. Н. Пыпина, – с самого начала оказывал внимание Чарторыйскому и, выбрав случай для интимного разговора, высказал ему симпатию, которую внушало ему положение братьев Чарторыйских при дворе (бывших чем-то вроде заложников), спокойствие и покорность судьбе, какие они обнаруживали; говорил, что он угадывал и разделял их чувства, считал нужным не скрыть от них своих мнений, которые не похожи на мнения императрицы и двора, что он не разделяет ее политики, сожалеет о Польше, что Костюшко в его глазах есть великий человек по своей добродетели и по справедливости дела, которое он защищал". "Он признавался мне, – продолжает Чарторыйский, – что он ненавидит деспотизм везде и каким бы образом он ни совершался, что он любит свободу и что она должна равно принадлежать всем людям, что он принимал живейший интерес во Французской революции, что он хотя и осуждал ее страшные заблуждения, но желал успехов республике и радуется им... Его мнения были мнения юноши 1789 года, который хотел бы видеть повсюду республики и считает эту форму правления единственно сообразной с желаниями и правами человечества".

С такими идеями и с таким настроением находим мы Александра в последний год правления Екатерины, к которому относятся эти беседы с Чарторыйским. Краткое, но поучительное правление Павла, за тем последовавшее, не могло ослабить в молодом и впечатлительном принце наклонности к этим идеям и планам. Если такие консерваторы, как Карамзин, заговорили о

свободе и уставах как прямом выводе из последних четырех лет нашего XVIII века, если при самом дворе возникла и сложилась та активная оппозиция, о которой мы упомянули выше, то на Александре, в душе которого почва была гораздо более приготовлена к освободительным идеям, эти, по выражению Карамзина, “мрачные ужасы зимы” должны были оставить более глубокий след и укрепить его намерения преобразовать Россию. “Здесь, – писал он об этой эпохе Лагарпу, – капрал предпочитается человеку образованному и полезному”. Александр воцарился с надеждою сделать невозможным повторение такого порядка. “Вступление на престол Александра I обещало России светлое будущее, – пишет профессор Иконников. – Уже в начале мая 1801 года он имел совещание с близкими людьми о необходимости преобразования политического строя государства, а в июне того же года открылись заседания *неофициального комитета* по разным вопросам предполагаемой реформы. Членами означенного комитета были: В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев, князь Адам Чарторыйский и граф П. А. Строганов”. Кочубей, попавший в опалу в последнее время правления императора Павла, был вызван из провинции немедленно по воцарении Александра, а Новосильцев и Чарторыйский – из-за границы, где первый состоял при русском посольстве в Лондоне, а второй – при Сардинском короле (бывшем тогда королем без королевства, ибо последнее отняли у него французы). “Комитет составился, по желанию императора, из лиц, удостоившихся доверия, для некоторого сотрудничества с ним в систематической работе над реформой “de l'edifice informe du gouvernement de l'Empire”[1] *(как значится в протоколах этого комитета)*. Работа должна была начаться обозрением настоящего состояния разных частей управления и затем решено было “предпринять реформу всех различных частей администрации et enfin couronner ces differentes institutions par une garantie, offerte dans une constitution reglee d'apres le veritable esprit de la Nation”[2]. Это последнее и было господствующей мыслью Александра, сочувствие к которой он находил в своих сотрудниках.

Вот с какими задачами, планами и надеждами открывалось царствование Александра I, и в это-то время, по выражению Пушкина, Сперанский явился “гением блага”, самым выдающимся и значительным государственным деятелем. Обратимся же теперь к изучению этой интересной личности и еще более интересной деятельности ее.

В небольшой захолустной деревушке Черкутино Владимирской губернии и уезда, вотчине князей Салтыковых, у

бедного приходского священника Михаила Васильева, не имевшего даже родового прозвища, и жены его Прасковьи Федоровой, дочери местного дьякона, родился 1 января 1772 года сын Михаил, впоследствии, при поступлении в семинарию, получивший фамилию Сперанского и под этим именем вписавший себя и свой скромный род в историю XIX века. Род этот, по словам самого Сперанского, передаваемым И. И. Дмитриевым, известным баснописцем и министром юстиции в эпоху Сперанского, происходил из Малороссии, где один из его предков был хорунжим в малороссийском казачьем войске. Биограф Сперанского, барон М. А. Корф сомневается, впрочем, в достоверности этого предания. Достоверно известно только, что дед Сперанского, священник Василий, священствовал в том же Черкутине; что сын его, а Сперанского отец, Михаил был сначала дьяконом там же, и за год до рождения будущего государственного деятеля, в 1771 году, получил там же священническое место. Детей отец Михаил имел немало, но вырастил немногих, – двух сыновей, Михаила (родившегося четвертым, но выросшего вторым после сестры Марии) и Кузьму, и двух дочерей, Марию и Марфу.

Родители Сперанского были люди вполне заурядные, ничем не выдававшиеся в той среде, в которой жили и действовали. Отец был известен своим огромным ростом и тучностью, за что и получил от своих прихожан прозвище Омета, и отличался, по словам барона Корфа, добродушием, “очень обыкновенным, почти ограниченным умом” и отсутствием всякого образования. Священник трезвый и исполнительный, он многие годы исправлял должность благочинного, а в 1797 году, по болезни и старости, оставил место, которое от него по наследству получил его зять, священник, впоследствии протоиерей, Михаил Федорович Третьяков, женатый на его младшей дочери Марфе (старшая дочь Мария была замужем за дьячком Петровым). Скончался отец Сперанского 28 мая 1801 года, как раз в то время, когда новое царствование открывало новые перспективы его старшему сыну, уже и тогда человеку чиновному. Сановником своего сына старику увидеть не пришлось. Зато мать видела его и на высоте первого сановника империи, и в опале и ссылке, и снова на высоте. Она умерла 24 апреля 1824 года, на 84-м году жизни. Биограф Сперанского нашел о ней сказать только, что “при маленьком росте, проворная, живая, она отличалась особенной деятельностью и остротою ума; кроме того, все в околотке уважали ее за набожность и благочестивую жизнь”. Вполне естественно, что, как замечает тот же биограф, “участие родителей в деле первого воспитания их сына было самое

незначительное”. Единственное, что еще можно отметить из этого раннего периода жизни Сперанского, это свидетельство его родных, что он был мальчиком слабого здоровья, склонным к задумчивости, рано выучился читать и пристрастился к чтению, которое, конечно, не могло быть разнообразно в доме бедного и малообразованного сельского священника. Семи лет он был отвезен во Владимир и отдан в семинарию, где, ввиду обнаруженных им способностей, и был записан Сперанским, то есть подающим надежды, Надеждиным.

В семинарии Сперанский учился отлично, был замечен местным архиереем, зачислен им в архиерейский хор, что считалось отличием, а ректор семинарии сделал его своим келейником (тоже отличие). В 1790 году, как лучший ученик, он восемнадцатилетним юношей был отправлен для продолжения образования в Петербург, в главную Александро-Невскую семинарию, как тогда называлась Духовная академия. Здесь тоже Сперанский был из первых учеников, особенно отличаясь в науках математических. Преподавание в этом высшем духовном училище было тогда далеко не на высоте высшего учебного заведения. Тем не менее, именно здесь окончательно дисциплинировался ум Сперанского, здесь же он овладел французским языком, открывшим ему доступ к всемирной литературе, и здесь же ему была указана эта литература одним из профессоров, большим поклонником Вольтера и Дидро. С этого времени он уже начинает изучать богатую философскую литературу XVIII века, читает Декарта, Локка, Лейбница, энциклопедистов и французских мыслителей XVIII века, до Кондильяка включительно. Ему в это время начинают поручать говорить проповеди, которые имеют большой успех, в списках хранятся слушателями и переписываются любителями.

В 1792 году Сперанский двадцати лет окончил курс и, замеченный митрополитом Гавриилом, оставлен в Петербурге профессором математики, физики и красноречия в той же главной семинарии, в которой только что окончил учение. Через три года его переводят на кафедру философии и назначают префектом семинарии. Это было знаком большого отличия со стороны митрополита, потому что до него префектами главной семинарии назначались духовные лица. К этому времени его профессорской деятельности относится завершение его философского образования и его первые литературные опыты. Это были большею частью небольшие рассуждения на философские темы. Одно из них “О силе, основе и естестве” было впоследствии, по смерти Сперанского, напечатано в “Москвитянине” за 1842 год. Кроме того, им написано в это время

руководство для своих учеников по кафедре красноречия, под заглавием “Правила высшего красноречия”. Оно тоже не было напечатано при жизни Сперанского и сохранилось не вполне. На составление этого руководства можно указать не только как на признак развития умственных интересов, но и как на свидетельство особой добросовестности в исполнении своих обязанностей, которая всегда и потом отличала Сперанского.

В это же время, то есть в последние годы правления Екатерины II, произошла в жизни скромного академического профессора перемена, проложившая ему дорогу на совершенно иное поприще. Одному из екатерининских вельмож, князю А. Б. Куракину, понадобился домашний секретарь для заведования его обширной служебной и частной перепискою. Митрополит Гавриил рекомендовал ему профессора Сперанского, нуждавшегося в средствах ввиду бедности его родных, которым он всегда посильно помогал. “Для испытания молодому человеку ведено было явиться однажды к восьми часам вечера, и Куракин поручил ему написать одиннадцать писем к разным лицам, употребив около часа на одно изъяснение на словах того, что следовало сказать в каждом письме. Сперанский, чтобы немедленно заняться порученным ему делом, без потери времени в переходах в отдаленную семинарию, а оттуда опять назад, остался на ночь у Иванова (своего земляка и приятеля, служившего и жившего у Куракина) и тут же написал все одиннадцать писем, так что к шести часам утра они уже лежали на столе у Куракина. Князь сперва не хотел верить своим глазам, что дело уже выполнено, а потом, прочтя письма и видя, как они мастерски изложены, еще более изумился, расцеловал Иванова (также со своей стороны рекомендовавшего Сперанского) за приисканный ему клад и тотчас принял к себе Сперанского”. Блестящие способности, обнаруженные на этой частной службе, проложили Сперанскому дорогу и на службу государственную, когда при Павле его патрон получил большое служебное назначение.

Из этого периода частной секретарской службы у Куракина (что не мешало ему оставаться профессором и в семинарии) следует отметить не очень многое. Положение его было немногим выше старшей прислуги, с которою он и обедал и с которою сохранил и впоследствии приязненные отношения. Сблизился же в это время он особенно с гувернером молодого князя, немцем Брюкнером, который очень полюбил Сперанского и проводил в беседах с ним все свободное время. Брюкнер был человек резких либеральных мнений, последователь Вольтера и энциклопедистов и вместе с тем с глубокими и многосторонними сведениями. Под

его влиянием окончательно сложилось то политическое миросозерцание Сперанского, которое потом сказалось в обширных реформаторских планах при императоре Александре I. Вероятно, влиянию того же Брюкнера, пользовавшегося большим доверием князя и княгини, Сперанский обязан и тем, что ему было поручено преподавание русского языка малолетнему племяннику князя Куракина, Сергею Уварову, впоследствии графу и министру народного просвещения, навсегда сохранившему самые теплые и сердечные отношения к своему бывшему наставнику.

В 1796 году скончалась Екатерина II и воцарился Павел, радикально изменивший весь состав правительства. Князь Куракин был назначен генерал-прокурором правительствующего сената. В то время, когда еще не существовало министерств и все дела по всем ведомствам проходили через сенат, должность генерал-прокурора была самой важной в государственном механизме. Генерал-прокурор докладывал императору все дела, проходившие через сенат, то есть все дела внутреннего управления по всем ведомствам, кроме военного. Куракин, назначенный генерал-прокурором, был сначала в большой милости у императора, который 19 декабря 1796 года пожаловал ему Александровскую ленту, 5 апреля 1797 года – чин действительного тайного советника, 4 октября 1797 года – брильянтовые знаки Александровского ордена, а 19 декабря 1797 года – Андреевскую ленту. Это быстрое возвышение завершилось таким же быстрым падением. В следующем 1798 году Куракин впал в немилость, был смещен со всех должностей и сослан в деревню. В бытность свою у власти Куракин успел, однако, прочно устроить своего бывшего домашнего секретаря и вознаградить его за оказанные им услуги. Как магистр и профессор Сперанский был определен в канцелярию генерал-прокурора прямо с чином титулярного советника. Быстро повышаясь в чинах и орденах, Куракин так же быстро повышал и Сперанского, которого, при своем падении, оставил уже коллежским советником и на должности экспедитора (правителя дел). На место Куракина был назначен князь Лопухин, на его место Беклешов, потом Обольянинов. Быстрое возвышение и падение было уделом всех сановников при императоре Павле, но все четыре генерал-прокурора не могли не ценить редких способностей молодого чиновника, и карьера Сперанского не прерывалась этими катастрофами наверху, в сферах сановных, которых он еще не достиг. За это время он был произведен в статские советники, получил 2 тысячи десятин в Саратовской губернии и орден. В это же время, кроме своей должности в

канцелярии генерал-прокурора, он был секретарем комиссии по снабжению столицы хлебом (где председателем был наследник престола великий князь Александр), а также секретарем Андреевского ордена. Таковы были успехи Сперанского на служебном поприще в кратковременное, но неспокойное правление императора Павла. Вся эта многосторонняя служебная деятельность, а особенно служба в генерал-прокурорской канцелярии, где сосредоточивалось, как сказано, все внутреннее управление страны, была отличною школой для будущего государственного деятеля. Школа эта, однако, была не из легких, ввиду особых свойств того времени. “При всех четырех генерал-прокурорах, – рассказывал впоследствии сам Сперанский, – различных в характерах, нравах, способностях, был я, если не по имени, то на самой вещи, правителем их канцелярии. Одному надобно было угождать так, другому – иначе; для одного достаточно было исправности в делах, для другого более того требовалось: быть в пудре, в мундире, при шпаге, и я был всяческая во всем. После Беклешова сам государь предостерегал против меня его преемника, полагая меня в связях с Куракиным и Беклешовым и им преданным; но генерал-прокурор горою за меня стоял и находил необходимым иметь при себе. Беклешов был их всех умнее, но и всех несчастнее – ему ничего не удавалось; всех их менее имел способностей Обольянинов – и ему все с рук сходило”.

Выдающиеся способности делали Сперанского необходимым, и потому его карьера была обеспечена и без обычного в то время искательства и угодливости. Известны факты, доказывающие, что в это время Сперанский не отличался этими качествами, а умел сохранять нравственную независимость, для того времени очень значительную. Известно, например, что когда Куракин впал в немилость и опалу, первым движением Сперанского было тоже оставить службу и последовать за опальным вельможею, покровительству которого он был обязан первыми служебными успехами. Сам Куракин с трудом отклонил Сперанского от этого благородного решения. В другом роде, но не менее характерны сведения о его отношениях к грубому и деспотичному Обольянинову. “Сперанский был много наслышан о грубом и запальчивом нраве нового своего начальника. В городе ходил не один анекдот о площадных ругательствах, которыми он осыпал своих подчиненных, и друзья молодого чиновника пугали его предстоявшею ему будущностью... Наш экспедитор понимал, что многое должно будет решиться первым свиданием, первым впечатлением; и вот в назначенный день и час он является в переднюю грозного своего начальника. О нем докладывают, его

велено впустить. Обольянинов, когда Сперанский вошел, сидел за письменным столом, спиною к двери. Через минуту он оборотился и, так сказать, остолбенел. Вместо неуклюжего, раболепного, трепещущего подьячего, какого он, вероятно, думал увидеть, перед ним стоял молодой человек очень приличной наружности, в положении почтительном, но без всякого признака робости или замешательства и притом – что, кажется, всего более его поразило – не в обычном мундире, а во французском кафтане из серого грограна, в чулках и башмаках, в жабо и манжетах, в завитках и пудре – словом, в самом изысканном наряде того времени... Сперанский угадал, чем взять над этою грубою натурой. Обольянинов тотчас предложил ему стул и вообще обошелся с ним так вежливо, как только умел". Сперанский этим способом хотел показать Обольянинову, что он "не то, что другие" (собственные слова Сперанского об этом случае), другими словами, что он не из тех, с которыми возможно грубое и необузданное обращение. Способ был очень смелый и рискованный, но в этом случае он достиг цели. "Представьте себе, – говорит по этому поводу Н. Г. Чернышевский, – какое впечатление было бы произведено и теперь на важного сановника, если бы безродный маленький чиновник явился к нему с первым докладом не в должностном костюме, а в простом фраке. Тогда это было еще опаснее. Сперанский рисковал не только быть выгнанным со службы, – он рисковал быть отданным под суд, удаленным из Петербурга, и никто уже не согласился бы принять вновь на службу дерзкого вольнодумца". Для Сперанского важно было лишь первое время уметь себя поставить, а затем он знал, что сделается необходимым. Действительно, по отзыву современников, он очень скоро стал "приближенным к особой и отличной доверенности Обольянинова", который, как мы выше видели, не внял предостережениям самого императора. Многочисленные отзывы и свидетельства современников, собранные в книге барона Корфа, единогласно указывают на блестящие способности как на главную причину быстрых служебных успехов Сперанского, а его нравственный облик дорисовывают, характеризуя его человеком, "ко всем приветливым, непритязательным, милым, краснословным, наконец, чрезвычайно любимым товарищами". Нельзя не отметить еще тех немногих данных, которыми мы располагаем для характеристики отношения Сперанского к своему служебному делу. Без всякой деловой школы (замечает его биограф), без другого приготовления, кроме домашней переписки у Куракина (биограф здесь слишком мало ценит высшее образование и философское развитие, которое отличало Сперанского в среде

тогдашнего чиновничества), он с учительской кафедры ступил прямо на пост делопроизводителя такой канцелярии, которая одна совмещала в себе почти все нынешние министерства. Молодой человек учился в пылу самой работы, и каждое дело, каждая бумага, каждый вопрос расширял круг его сведений в области, до тех пор совершенно для него новой... Впрочем, *тогдашний* Сперанский соединял в себе два, некоторым образом, противоположных качества: с одной стороны, навык от прежней сферы занятой к глубокомысленному размышлению и труду самому усидчивому; с другой – энтузиазм и увлечение, легко воспламенявшиеся каждым новым предметом или впечатлением, – качества двух полюсов: ученого и поэта. В сослуживцах его большею частью не было ни того, ни другого. Он не мог не чувствовать своего превосходства над ними и даже иногда выражал его не таясь, по крайней мере в откровенных беседах с друзьями. *Больно мне, друг мой,* – пророчески писал он одному из них в начале 1801 года, – *если смешаете вы меня собыкновенными людьми моего рода: я никогда не хотел быть в толпе и конечно не буду.* Но такая самоуверенность не мешала ему любить людей и верить им как по врожденному чувству, так и потому, что еще не испытывал от них никаких разочарований. *Дай Бог,* сказано в другом его письме того же года, *чтобы ко мне имели столько доверия, сколько я к другим имею...* Бывали, однако, и такие минуты, уже спустя несколько лет после определения его в службу, в которых проглядывали отчасти неудовольствие или нетерпеливость. Так, от 19 января 1801 года он писал: *я живу по-прежнему, то есть в хлопотах или в скуке, два препровождения обыкновенного моего времени,* а в письме к другому лицу, около той же эпохи (то есть последнее время правления императора Павла), мы находим следующее место: *я болен, мой друг, и в бесконечных хлопотах. Пожалей о человеке, которого все просят, который всем хочет добра и редкому сделать его может, и рвется тем сильнее, что положение его многих обманывает, – положение, а не сердце. Пожалей о человеке, которому столько завидуют.* Тут видна (продолжает от себя барон Корф) борьба с теснящими внешними обстоятельствами: сознавая свои силы и свои достоинства, Сперанский жаждал высшей деятельности, а вместо того ему приходилось вращаться в озабочивающих мелочах канцелярского производства и к тому же, прибавим мы, он был свидетелем, как государственные и общественные дела в это время генерал-прокурорства Обольянинова идут по наклонной плоскости и во всяком случае не согласно с теми воззрениями и мнениями, которые, – при его философском образовании и политическом направлении, – он мог себе составить.

Героем Сперанский не был в эту эпоху, как никогда им и не будет, но он был безусловно честным человеком, горячо преданным благу человечества и своим убеждениям и не менее горячо желавшим “высшей деятельности” для осуществления своих в тиши кабинета выработанных заветных идей. “Сперанский непритворно желал осуществить то, в пользе чего был убежден”, – замечает о нем Чернышевский.

Такою рисуется перед нами молодость Сперанского в этот подготовительный период его жизни, если мы рассматриваем эту жизнь по отношению к тому делу общественного и государственного служения, которое в последующие периоды его жизни сделало его имя историческим и знаменитым в лучшем значении этого слова. Еще симпатичнее представляется эта личность, когда мы оглянемся на частную и семейную жизнь. Мы уже упоминали о его заботах о своих родителях, о теплом и приятельском отношении к прислуге князя Куракина и после того, как их бывший сотрапезник стал важным чиновником и даже сановником[3], о хороших воспоминаниях, оставленных им в памяти мелких сослуживцев своих этого времени. Можно было бы прибавить еще немало подобных симпатичных черт, разбросанных в материалах и отзывах о нем. Но еще характернее и важнее его брак, заключенный именно в эти последние годы императора Павла. В это время Сперанский был уже на такой дороге, что мог рассчитывать на самую блестящую будущность, а следовательно и на блестящую партию, которая укрепила бы его положение, дала бы ему, безродному поповичу, связи и опору в чиновном и сановном мире. Карьерист, конечно, так и поступил бы. Он даже выждал бы время, чтобы, еще возвысившись, иметь еще лучшие связи благодаря заключенной партии. Сперанский же женился по любви на бедной англичанке Елизавете Андреевне Стивенс, дочери гувернантки, без связей и состояния. Он горячо любил жену и был, по всем свидетельствам, очень счастлив с ней, но и года не прошло этому счастью, как она умерла от скоротечной чахотки, оставив мужу грудную дочь да свою мать, его тещу, особу необузданного и невыносимого характера. Удар, нанесенный этой кончиной, был тем ужаснее, что Сперанский был мало приготовлен к нему. “Муж, с своей стороны, тоже не видел ничего опасного в ее нездоровье, – рассказывает барон Корф, – даже в ту минуту, когда обожаемая им жена, после одиннадцатимесячного супружества, испускала последний вздох, он был по службе в Павловске и при предсмертных ее страданиях находилась одна г-жа Вейкардт. Когда Сперанский возвратился домой, он нашел остывший труп. Оставив у изголовья дочери записку, в которой нарекал ее, по бабке и по матери, именем

Елизаветы и написав несколько строк… с просьбою не отыскивать его нигде – он исчез. Первая мысль была, что несчастный лишил себя жизни. Но на следующее утро он с всклокоченными волосами, со страшно изменившимся лицом явился в свое жилище, приложился к телу и опять исчез. Так повторялось все время, пока тело лежало в доме. Он приходил поутру, приходил вечером, лобызал дорогой прах и снова пропадал. Даже последний долг покойной (она погребена на Смоленском кладбище) был отдан без него, и с этого времени он не возвращался более домой и не показывался ни на службе, ни у знакомых. Уже только через несколько недель его отыскали в глуши, на одном из Невских островов, совершенно углубленного в свою печаль”.

Сознание своих обязанностей перед дочерью, а быть может и перед своими убеждениями, возвратило, однако, Сперанского к жизни и деятельности и спасло от самоубийства, к которому он был очень близок одно время. Отчаяние первого времени улеглось, перешло в тихую печаль и благоговейное почитание памяти покойной Елизаветы Андреевны, которой он остался верен всю жизнь. Овдовев двадцати семи лет, после одиннадцатимесячного супружества, Сперанский остался вдовцом на всю остальную долгую жизнь свою (он умер шестидесяти семи лет), хотя было время, когда он мог бы выбирать между первыми невестами империи. Любовь к дочери и преданность своим идеям и планам заменили ему отныне все радости семейной жизни.

Наступало, между тем, для Сперанского время проявить эту преданность и возвестить эти планы.

Глава II. Сперанский-реформатор

Сперанский при Трощинском и Кочубее. – Приближение к Александру. – Поездка в Эрфурт. – Поручение проектировать план общей политической реформы. – Обзор плана Сперанского. – Разделение властей, вертикальное (власти законодательная, судебная и исполнительная) и горизонтальное (управление местное и государственное). – Децентрализация законодательства, суда и администрации. – Организация центральных государственных установлений. – Государственная дума. – Сенат. Министерство. – Государственный совет. – Характеристика плана. – Обзор некоторых возражений

12 марта 1801 года вступил на престол император Александр I, и через неделю, 19 марта, состоялся указ сенату: “Всемилостивейше повелеваем быть при нашем тайном советнике Трощинском, у исправления дел, на него по доверенности нашей возложенных, статскому советнику Сперанскому со званием нашего статс-секретаря”. Трощинский же, до собрания неофициального комитета, члены которого в это время были еще рассеяны по Европе и России, был первым приближенным молодого императора, через него начавшего осуществлять свои намерения. Таким образом, с первых шагов Сперанский очутился в самом центре труда по этому осуществлению, хотя покуда еще в роли простого исполнителя и редактора. Из того ряда мероприятий и указов, которыми в первые годы правления Александра ликвидировалось наследие предыдущего царствования и открывались впервые перспективы устроения будущего на иных началах, к этому времени сотрудничества Сперанского с Трощинским относятся следующие: о свободном пропуске едущих в Россию и отъезжающих из нее; отмена запрещения на вывоз за границу хлеба и вина; отмена запрещения ввозить из-за границы всякие книги и музыкальные ноты; распечатание частных типографий, запрещенных при Павле, и дозволение им печатать книги и журналы; манифест о восстановлении жалованных грамот дворянству; манифест о восстановлении городового положения и грамоты, данной городам; манифест об уничтожении тайной экспедиции и об облегчении участи преступников; освобождение священников и дьяконов от телесного наказания; указ президенту Академии наук не принимать для напечатания в ведомостях объявлений о продаже людей без земли; указ сенату о представлении ему особого доклада о правах его и обязанностях; образование

комиссии составления законов и др. В это же время был образован впервые государственный совет, где Сперанский, с сохранением звания статс-секретаря, был назначен начальником экспедиции по части гражданской и духовной. “Трощинский поручал Сперанскому, независимо от его обязанностей по совету, составление всех манифестов, указов и пр., которыми так обиловало начало царствования Александра I” и некоторые из которых нами выше перечислены.

Так дела шли в течение 1801 и частью 1802 годов. 8 сентября этого последнего вышел указ об учреждении министерств, совершенно изменивший порядок высшего управления. Министром внутренних дел был назначен граф Кочубей, а докладчиком по делам комитета министров – Новосильцев. Отныне на несколько лет вся власть и сила сосредоточились в этом неофициальном кружке приближенных императора. Мы знаем уже, какими задачами задавался этот кружок и сам император во главе его. Кочубей, уже раньше знакомый со Сперанским, наметил его в свои ближайшие сотрудники. “Еще до издания манифеста Сперанский сказался больным, перестал являться к должности и, по поручению Кочубея, втайне занялся разными приготовительными работами к предстоявшему образованию его будущего министерства”, так что одновременно с манифестом об учреждении министерств того же 8 сентября состоялось повеление о назначении статс-секретаря действительного статского советника (незадолго произведенного) Сперанского производителем дел при министерстве внутренних дел. Теперь уже многое зависело от инициативы Сперанского, с которым его министр был единомышленник и которого умел высоко ценить. Сперанский, по словам его биографа, “понимал, что многое у нас нехорошо, и пытался заменить худое лучшим”. Сдерживающим элементом являлся отчасти Кочубей, “по своему характеру менее решительный, чем его наперсник, хотя вполне сочувствовавший стремлениям последнего”. “Во всяком случае, – заключает барон Корф, – министерство внутренних дел далеко опередило другие и стало на первую степень во вновь образованной машине государственной администрации”. Пять лет (1802 – 1807 годы) пробыл Кочубей в должности министра внутренних дел, и в сотрудничестве со Сперанским было совершено в это время министерством очень многое благое и немало такого, что имеет и историческое значение. В это время именно министерством внутренних дел составлены и проведены такие мероприятия, как указ о свободных хлебопашцах, положение о евреях, разрешение вольного соляного промысла, преобразование медицинского дела, одесское porto franco[4],

почтовое преобразование и мн. др., менее значительное. “Все проекты новых постановлений писаны Сперанским”, – сообщает барон Корф. Он же составлял годовые отчеты императору, впервые печатавшиеся во всеобщее сведение.

Император не мог не обратить внимания на работы Сперанского, тем более что Кочубей сам выдвигал своего сотрудника и не закрывал его собою. Так, в случае нездоровья он посылал его с докладом к императору. Он же дал совет Александру еще в 1803 году поручить Сперанскому составить план общего образования судебных и правительственных мест в империи. Частое недомогание Кочубея в 1806 году открыло Сперанскому возможность быть ближе узнанным Александром, которого не удовлетворяли плоды деятельности неофициального комитета по делу о проектировании общей политической реформы. В Сперанском император нашел человека, горячо преданного тем же преобразовательным идеям, но гораздо лучше вооруженного и по широкому философскому образованию, и по большему знакомству с русскою действительностью, и наконец, по замечательным выдающимся дарованиям, творческому уму, громадному трудолюбию. Для громадного дела реформы, которую Александр в это время считал еще произведением своего правления, был нужен именно такой человек, как Сперанский. И Александр нашел его и быстро приблизил к себе. В 1806 году Сперанский вошел в личные сношения с императором, а в 1807 году, еще до отставки Кочубея, он уже был отчислен от министерства внутренних дел и как статс-секретарь остался лично при императоре для исполнения его поручений. Масса работ по законодательству и управлению прошла в это время через руки Сперанского. О них мы упомянем ниже, чтобы теперь остановить преимущественное внимание на главных задачах, возложенных в это время на него Александром и выполнение которых и составляет ту отличительную черту в жизни и деятельности Сперанского, которая сделала его имя знаменитым и историческим, а его личность подвергла стольким превратностям.

В 1808 году Сперанский сопровождал Александра в его поездке в Эрфурт на свидание с Наполеоном. Здесь однажды Александр обратился к нему с вопросом, как ему нравится за границею. Сперанский отвечал: *у нас люди лучше, но здесь лучше установления.* “Это и моя мысль, – заметил император, – мы еще поговорим о том, когда воротимся”. Когда они возвратились, в том же 1808 году Сперанскому дано было поручение составить план общей политической реформы. Происхождение этого поручения и самое его исполнение сам Сперанский так излагает в

письме к Александру из Пермской ссылки: “В конце 1808 года, после разных частных дел, Ваше Величество начали занимать меня постоянно предметами высшего управления, теснее знакомить с образом Ваших мыслей, доставляя мне бумаги, прежде к Вам дошедшие, и нередко удостаивали проводить со мною целые вечера в чтении разных сочинений, к сему относящихся. Из всех сих упражнений, от стократных, может быть, разговоров и рассуждений Вашего Величества надлежало наконец составить одно целое. Отсюда произошел план всеобщего государственного образования. В существе своем он не содержит ничего нового; но идеалам, с 1801 года занимавшим Ваше внимание, дано в нем систематическое расположение. Весь разум сего плана состоял в том, чтобы посредством законов и установлений утвердить власть правительства на началах постоянных и тем самым сообщить действию сей власти более правильности, достоинства и истинной силы. В течение с лишком двух месяцев занимаясь почти ежедневно рассмотрением его, после многих перемен, дополнений и поправлений, Ваше Величество положили наконец приводить его в действие”.

Так был задуман и составлен этот проект положений реформы. “В виде вступления к ее разрешению, – говорит Корф, – Сперанский представил обширную записку, почти целую книгу, о свойстве и предметах законов государственных вообще, о разделениях на преходящие и коренные или неподвижные, и о применении тех и других к разным степеням власти. Потом он принялся, со свойственным ему жаром, за составление полного плана нового образования государственного управления во всех его частях, от кабинета государева до волостного правления... Работа создавалась под пером смелого редактора с изумительною быстротою. Не далее октября 1809 года весь план уже лежал на столе Александра. Октябрь и ноябрь прошли в ежедневном почти рассмотрении разных его частей, в которых государь делал свои поправки и дополнения. Наконец положено было приступить к приведению плана в действие”.

В чем же заключался этот знаменитый план “смелого” (как выражается барон Корф) реформатора? В самом начале своего *Введения* автор проекта обращается к истории.

О времени Петра Великого Сперанский говорит: “Во внешних формах, данных правительству при Петре I, нисколько не думали о свободе политической, но Петр, открывая дорогу наукам и торговле, тем самым открывал путь и свободе. Не имея никакого ясного намерения дать России политическое бытие, этот государь приготовил для него путь уже тем одним, что он имел инстинкт цивилизации”. Упомянув затем об известной попытке

верховников при вступлении на престол Анны Иоанновны и не добром помянув время Елизаветы Петровны, этот исторический обзор переходит к Екатерине II: “Настало наконец царствование Екатерины II. Все, что сделано было в других странах для устройства сословных собраний, все, что политические писатели того времени предлагали наилучшего для содействия успеху свободы, все, что пытались сделать во Франции в течение двадцати пяти лет для предупреждения того великого переворота, настоятельность которого предвидели, – все это Екатерина употребила при устройстве комиссии об уложении. Созваны были депутаты нации, и созваны в строгих формах национального представительства; для этого собрания составлен был наказ, заключавший в себе собрание лучших политических истин того времени; ничто не было забыто, чтобы облечь это собрание всеми гарантиями свободы и всеми атрибутами достоинства, чтобы дать ему, чтобы дать России, которую оно представляло, политическое бытие. Но все это было так незрело, так преждевременно, что только величие первой мысли и блеск последовавших военных и политических подвигов могли спасти попытку от всеобщего неодобрения. С тех пор мысли Екатерины II, как это можно видеть по ее дальнейшему образу действий, совершенно изменились. Неуспех этой попытки, кажется, охладил ее и, так сказать, устрашил ее от внутренних политических реформ”. Из времен императора Павла, к которому вслед за тем обращается Сперанский, отмечается закон о престолонаследии, а также закон, “который устанавливает за правило, что крестьяне должны работать не больше трех дней в неделе. Это был первый закон, обнаруживший благоприятное расположение к крестьянам, со времени их подчинения землевладельцам”. Указав затем на указы императора Александра о праве всех сословий владеть землею, о свободных хлебопашцах, об освобождении лифляндских крестьян и об учреждении министерств с ответственностью, Сперанский из всего этого исторического обзора делает вывод, что Россия идет к свободе.

“Все жалуются, – замечает далее Сперанский в том же *Введении,* – на смешение, которое царствует в наших гражданских законах; но где средства улучшить их, ввести в них желаемый порядок, когда мы не имеем законов политических! К чему служат законы, определяющие права собственности каждого, когда сама эта собственность не имеет никакого прочного и определенного основания?.. Жалуются на беспорядок в финансах, но можно ли хорошо устроить финансы там, где нет публичного кредита, где не существует никакого политического учреждения, которое могло бы обеспечивать его прочность? Жалуются на

медленность, с какою распространяется просвещение, промышленность; но где принцип, который мог бы оживотворить их?" По поводу распространения просвещения, записка обращается не только к политическим реформам, но и к крепостному праву: "К чему послужит рабу просвещение? К тому только, чтобы яснее обозрел он всю горесть своего положения". "Упомянув о том, – сообщает В. И. Семевский, – что было время, когда теперешние крепостные могли иметь собственность и пользовались правом перехода с места на место, Сперанский замечает, что хотя "рабы всегда и везде существовали (в самых республиках число их равнялось почти числу граждан, а участь их там была еще горше, нежели в монархиях)", но что "не должно, однако же, из сего заключать, чтобы рабство гражданское было необходимо. Мы видим, напротив, государства обширные и многонаселенные, в коих рабство сего рода мало-помалу уничтожилось. Нет никаких оснований предполагать, чтобы и в России не могло оно уничтожиться, если приняты будут к тому действительные меры. Но чтобы сии меры были действительны, они должны быть постепенны. Гражданская свобода имеет два главные вида: свобода личная и свобода вещественная.

Существо первой состоит в следующих двух положениях: 1) без суда никто не может быть наказан; 2) никто не обязан отправлять личную службу иначе, как по закону, а не по произволу другого". В примечании к этому месту своего труда автор полагает: "Первое из сих положений дает крепостным людям право суда и, отъемля его от помещиков, ставит их наравне со всеми перед законом. Второе предложение отъемлет право отдавать в службу без очереди. На сих двух основаниях утверждается личная свобода". Затем автор продолжает: "Существо свободы второго рода, то есть вещественной, основано на следующих положениях: 1) всякий может располагать своею собственностью по произволу, сообразно общему закону; без суда собственности никто лишен быть не может; 2) никто не обязан отправлять вещественной службы, ни платить податей и повинностей иначе, как по закону или по условию, а не по произволу другого". То, что затем следует, мы находим в рукописи Сперанского в двух редакциях: первая, более решительная, зачеркнута автором и вместо нее написано совершенно другое".

Если мы вспомним вышеприведенное место из пермского письма Сперанского и затем цитированное нами сообщение барона Корфа, то не должны ли мы видеть в этих двух редакциях следов этих "перемен, дополнений и поправлений", сделанных Александром? В первой редакции Сперанский требует, чтобы

помещики были немедленно лишены права наказывать крепостных без суда и сдавать их в рекруты без очереди, чтобы установлены были крестьянские суды и, наконец, чтобы повинности крестьян были определены особым законом. Во второй редакции учреждение сельских судов и точное определение повинностей не выражаются уже столь категорически, и вообще решение вопроса, слишком теоретическое, практически отодвигается на задний план. Достойно отметить, впрочем, что Сперанский высказывается против безземельного освобождения.

Таковы сообщаемые А. Н. Пыпиным и В. И. Семевским сведения об историко-теоретическом *Введении,* которое было предпослано Сперанским самому законопроекту, в сентябре 1809 года поднесенному Александру и в декабре того же года получившему одобрение последнего. Законопроект Сперанского известен в печати лишь в общих чертах и с большими пробелами, но и того, что уже известно, достаточно, чтобы судить об общем характере всего труда и чтобы признать за его автором замечательную теоретическую стройность мысли, строго выдержанной на всем протяжении плана. Нельзя не согласиться также с профессором Романовичем-Славатинским и г-ми Пыпиным и Филипповым, что план этот ставит Сперанского в число самых передовых политических мыслителей своего времени, то есть первого десятилетия XIX века.

Во главу реформы было положено строгое разделение власти на законодательную, административную и судебную и не менее строгое проведение принципа разделения властей на местные и центральные. Эти правильные, так сказать, вертикальные и горизонтальные деления всего государственного политического механизма создают замечательно отрадную и последовательную систему, начинающуюся в волостных учреждениях и кончающуюся высшими правительственными учреждениями империи. Волостное управление точно так же делится на органы законодательства, суда и администрации, как вслед за тем уездное, губернское и наконец государственное. С другой стороны, законодательная власть точно так же имеет четыре степени (волостное законодательство, уездное, губернское, государственное), как и судебная и административная. Каждая территориальная единица, совмещая в своих учреждениях все органы политической жизни, могла бы таким образом свои местные нужды, поскольку они не зависят от нужд, общих и другим территориальным единицам, удовлетворять и устраивать по своим желаниям и потребностям, не обременяя своими чисто местными делами ни центрального правительства, ни даже

ближайших местных высших степеней. Эта *децентрализация* законодательства, суда и администрации должна была дать самой центральной власти возможность решить с должным вниманием те важнейшие государственные дела, которые сосредоточивались бы в ее органах и которые не были бы заслоняемы массой текущих мелких дел местного интереса. Эта идея децентрализации была тем замечательнее, что вовсе не стояла еще на очереди у западноевропейских политических мыслителей, которые больше занимались разработкой вопросов о центральном управлении. Это было время крайнего развития всепоглощающей бюрократической централизации во Франции, организованной первою республикою и достигшей крайнего своего выражения при первой империи. С другой стороны, и консервативная легитимная Австрия одобрила и все сильнее развивала ту же систему полицейско-бюрократической централизации, так что оба направления, демократическое и консервативное, боровшиеся в это время за господство в Европе, одинаково опирались на централизацию и одинаково развивали и усиливали бюрократическую опеку. Тем больше чести политическому творчеству нашего реформатора, что все эти западные примеры, пример самого Наполеона, не помешали ему установить более правильный взгляд на отношения центрального и местного управления.

Низшею единицею управления и самоуправления является, по плану Сперанского, *волость,* а затем последовательно – *уезд и губерния* свышеупомянутым подразделением властей в каждой из этих единиц.

Центральное государственное управление равным образом составляется из трех независимых учреждений: государственной думы (власть законодательная), сената (власть судебная) и министерства (власть административная). “В этих трех учреждениях, – говорит Сперанский, – заключаются все государственные власти или силы: законодательство вверено государственной думе; суд или судебная часть – сенату; администрация – министерству. Деятельность этих трех учреждений соединяется в Государственном Совете и через него восходит к престолу”.

Сенат – высшее судебное учреждение империи. Он разделяется на департаменты уголовные и гражданские и имеет местопребывание в Петербурге и Москве (по два департамента).(В позднейшей редакции предполагалось даже четыре местопребывания: Петербург, Москва, Киев и Казань). Число членов его определено законом. Сенаторы занимают свои должности пожизненно, то есть не сменяемы. Заседания сената

публичны, его решения печатаются. Все судебные дела подлежат ревизии сената, но из сведений, сообщаемых А. Н. Пыпиным, не видно, в каком порядке подлежат они ревизии, в кассационном или апелляционном. Имея в виду, что первою общею инстанцией является в плане судебной реформы уездный суд, а второю апелляционною – суд губернский, позволительно заключить, что под "ревизией" судебных решений проект разумел производство кассационное. Следует еще отметить, что председатели судов уездного и губернского, назначаемые правительством (члены, как сказано, избираются думами), не должны были быть председателями в судебных заседаниях, но лишь "блюстителями законных форм и производства". Не указывает ли и это на кассационное значение сенатской ревизии? Иначе куда же должен обращать свои протесты этот "блюститель законности" в судопроизводстве?.. Из этих, к сожалению, слишком кратких сведений, которыми мы располагаем о судебной реформе, все-таки видно, что самое главное из того, что было осуществлено через полвека в судебных уставах 20 ноября 1864 года, уже было в общих чертах намечено Сперанским в 1809 году: отделение мирового посреднического разбирательства (волостные судьи) от общего формального; три судебные инстанции общего судоустройства; суд присяжных для первой инстанции и частью для мирового суда; независимость суда (либо избрание, либо пожизненность); гласность и публичность, – все эти основные принципы судебной реформы 1864 года уже находим и у Сперанского. Отсутствует только состязательность процесса, но надо помнить, что мы имеем очень отрывочные сведения о плане судебного преобразования Сперанского и что сам этот план, именно во всем, что касается суда, постоянно ссылается на законы, призванные впоследствии определить подробности. Это только основные начала реформы.

Судебная иерархия дополняется верховным уголовным судом, состоящим при сенате и созываемым для суждения государственных преступлений, а также преступлений, совершенных министрами, членами государственного совета, сенаторами, генерал-губернаторами. Верховный уголовный суд составляется из членов государственного совета, государственной думы и сената.

Административная власть увенчивается министерством, как судебная – сенатом... Министерства, как упомянуто, были образованы еще в 1802 году, по плану неофициального комитета, но план этот страдал многими недостатками. К тому же, хотя, и неофициальный комитет имел в виду общую политическую реформу в том же направлении, как и Сперанский, тем не менее

надлежало согласовать учреждения о министерствах со всем планом, выработанным Сперанским. По мнению последнего, эти учреждения страдали тремя недостатками, подлежавшими устранению и преобразованию: 1) *Недостатком ответственности,* которая "не должна состоять только в словах, но быть вместе и существенною"; 2) *недостатком точности распределения дел,* причем Сперанский указывает многочисленные примеры совершенного смешения ведомств и большой путаницы в делах, отсюда неизбежно происходящей; 3) *недостатком учреждений,* то есть самой организации: "Ни внутри министерств, ни в частях, от них зависящих, не сделано никакого правильного образования", – пишет Сперанский. Отсюда произошло, что дела, не быв разделены на свои степени, все по-прежнему стекаются в одни руки и, естественно, производят пустое многодеяние и беспорядок. Время главного начальника беспрестанно пожирается тем, что должен бы был делать один из низших его подчиненных; занятое же множеством текущих дел внимание не может обозреть их в целости и вместо того, чтобы остановиться на главных и существенных усмотрениях, беспрестанно рассеивается в мелком надзоре исполнения. На этих основах и был выработан проект учреждения министерств. Все остальное вошло в устав о министерствах, изданный в 1810 и 1811 годах, и в общих чертах действует и доныне. Мы уже знаем, что вся иерархия власти увенчивалась, по проекту, *государственным советом,* через который все должно было восходить к престолу. Сама организация государственного совета, предполагавшаяся в проекте 1809 года, была осуществлена в положении об его учреждении 1810 года. "В порядке государственных установлений, – гласит это положение, – совет составляет *сословие,* в коем все части управления *в главных их отношениях к законодательству* соображаются и через него восходят к верховной Императорской Власти". Уже это общее определение указывает на государственный совет, как на преимущественно законодательное учреждение, как бы на верхнюю палату, ревизующую при этом и деятельность министерства. Это видно из постановлений *положения: "все* законы, уставы и учреждения... предлагаются и рассматриваются в государственном совете и *потом* действием Державной Власти поступают к предназначенному им совершению". Эти отмеченные нами выражения "все" и "потом" ясно указывают, что по первоначальному положению никакая законодательная мера не могла быть издана, не рассмотренная и не одобренная государственным советом. Император, конечно, мог и не утверждать мнений и решений совета, но самая формула их

утверждений (“вняв мнению государственного совета”) показывала, что заменить эти мнения и решения иными было бы несогласно с *положением.* Законодательное значение, созданное таким образом для государственного совета, было очень важно, и едва ли совет мог бы некогда приобрести достаточный политический авторитет, чтобы стать на уровень этих политических задач. Как своего рода политический буфер между новыми учреждениями, еще не успевшими установить свои отношения, он мог быть полезен, но едва ли прерогативы, ему предназначавшиеся, не превосходили меру, соответственную такой задаче. Государственному совету сверх того предоставлялось: рассмотрение и одобрение общих внутренних мер (в порядке исполнительном) “в чрезвычайных случаях”; контроль за внешней политикой, “когда, по усмотрению обстоятельств, внешние меры могут подлежать общему соображению”; государственные бюджеты и отчеты всех министерств.

Члены государственного совета присутствовали бы в верховном уголовном суде. Важнейшие должности в административной и судебной иерархии, если они не были выборными, замещались бы министрами с утверждения государственного совета. Такова была по проекту, а частью и по *положению 1810 года,* компетенция государственного совета. Организация совета предполагалась та же самая, что осуществилась в *положении 1810 года;* совет был разделен на четыре департамента: 1) законов, 2) дел военных, 3) дел гражданских и духовных и 4) государственной экономии, из которых в каждом по особому председателю. В общем собрании председательство принадлежало императору или лицу по его назначению. Это назначение полагалось возобновлять ежегодно. Для производства дел совета была учреждена государственная канцелярия из статс-секретарей под главным управлением государственного секретаря, докладывающего в общем собрании, представляющего журналы совета на высочайшее усмотрение и заведывающего всей исполнительной частью.

Такой была в общих чертах политическая реформа, проектированная в 1809 году Сперанским и охватывающая собой весь государственный и общественный строй России того времени. Крепостное состояние, суд, администрация, законодательство, учреждения местные и центральные – все нашло себе место и разрешение в этой грандиозной работе, оставшейся памятником политических дарований, далеко выходящих за уровень даже высокоталантливых людей. Сперанского назвали бы гением, если бы его реформа получила

осуществление и успех. Гений умеет не только проектировать, но и осуществлять или, по крайней мере, знает пути, ведущие к осуществлению. И единственно этот дефект громадной работы Сперанского, дефект ее неосуществления и неосуществимости при данных условиях и данными способами, и препятствует назвать Сперанского гением, хотя по силе умственного творчества, по быстроте и громадности работы, по ее законченности и логическому совершенству автор ее возвышается до черты гения.

Некоторые критики Сперанского упрекают его в том, что он недостаточно выдвинул крестьянскую реформу. Другие за то, будто он не сознавал, что политическая реформа, то есть перераспределение власти, осуществима лишь после того, как в национальном строе совершилось перераспределение политической силы; до того же новые формы не дадут нового содержания. Некоторые места из его *второго* "Введения", которым мы до сих пор не пользовались вовсе, свидетельствуют, что упреки эти неосновательны, поскольку они указывают на *несознание* Сперанским этих двух истин. "Отношения, в которые поставлены оба эти класса (крестьяне и их помещики), – читаем мы у Сперанского, – окончательно уничтожают всякую энергию в русском народе. Интерес дворянства требует, чтобы крестьяне были ему совершенно подчинены; интерес крестьян состоит в том, чтобы дворяне были так же подчинены короне... Престол всегда представляется крепостным как единственный противовес имуществу их господ". Сперанский, таким образом, вполне ясно сознавал, что крепостное состояние было несовместимо с политическою свободою, потому что интерес дворянства, нуждавшегося в сильном правительстве для подчинения крестьян, и крестьянства – видевшего в сильном правительстве единственный тормоз, обуздывающий произвол господ, – равно противоречили политической свободе. "Таким образом, – пишет дальше Сперанский, – Россия, разделенная на различные классы, истощает свои силы в борьбе, которую эти классы ведут между собою, и оставляет правительству весь объем безграничной власти. Государство, устроенное таким образом – то есть на разделении враждебных классов – если оно и будет иметь то или другое внешнее устройство, – те и другие грамоты дворянству, грамоты городам, два сената и столько же парламентов, – есть государство деспотическое, и пока оно будет состоять из тех же элементов (враждующих сословий), ему невозможно будет быть государством монархическим".

Сознание необходимости, в интересах самой политической реформы, упразднить крепостное право, а равно и *сознание*

необходимости, чтобы перераспределение власти соответствовало перераспределению политической силы, совершенно явствует из этого рассуждения. Таким образом, Сперанский должен быть освобожден от вышеупомянутых упреков в несознании и непонимании значения крепостного права и распределения действительной политической силы в государстве. Как теоретик, он стоял вполне на высоте выпавшей на его долю задачи. Тем интереснее и загадочнее это совпадение такой ясной и смелой теоретической мысли с таким полным крахом всего дела гениального реформатора. Историю этого краха и тех тяжких превратностей, которые выпали на долю смелого творца реформы, мы изложим на следующих страницах.

Глава III. Проведение реформы и борьба

Всемогущества Сперанского и его отношение к своей власти и положением. – Его одиночество. – Его труды. – Гражданское уложение. – Организация духовно-учебного дела и устав духовных академий. – Лифляндское крестьянское дело. – Устроение Финляндии и Боргосский сейм. – Указы о придворных званиях и об экзаменах на чины. – Царскосельский лицей. – Финансовые планы Сперанского. – Таможенный тариф. – Отношение к контрольной системе. – Внешняя политика. – Первые шаги политической реформы. – Учреждение государственного совета. – Преобразование министерства. – Проект преобразования сената. – Рост оппозиции, колебания Александра, начало разномыслия и подготовление падения Сперанского

Период 1808 – 1811 годов был эпохой наивысшего значения и влияния Сперанского, о котором именно в это время известный Жозеф де Местр писал, что он “первый и даже единственный министр” империи. За это время Сперанский, по поручению Александра I, составил план общей политической реформы, которая охватывала весь строй политических и гражданских отношений. Законодательство, суд, администрация (от волости до высших учреждений), крепостное состояние, – ничего не было забыто в этом плане. В ноябре 1809 года император одобрил план и решил постепенно приводить его в исполнение. Реформа государственного совета (1810 год), реформа министров (1810 – 1811 годы), реформа сената (1811 – 1812 годы) явились друг за другом из-под пера Сперанского как первые шаги этого общего плана. Этого одного было бы достаточно, чтобы занять время самого богато одаренного человека; но если этот человек считает возможным работать по восемнадцать часов в сутки (как то делывал Сперанский), то этим жестоким насилием над природой и организмом он может, конечно, еще значительно увеличить количество труда. Кроме замечательного здоровья, кроме блестящих дарований, необходимо для этого и много той глубокой преданности своим идеям и планам, которая граничит с религиозной верой. В этот период своей кипучей деятельности Сперанский, очевидно, с избытком обладал и таким железным здоровьем, и такой религиозной преданностью своим идеям, а дарования, нередко возвышавшиеся до черты гениальности, оплодотворяли эти неслыханные труды. Гражданское уложение,

финляндская конституция, крестьянское дело в Лифляндии, учреждение Царскосельского лицея, преобразование духовно-учебных заведений, устав духовных академий, таможенный тариф, наконец, замечательные финансовые планы, впервые внесшие порядок и научную систему в управление русскими финансами, – таково самое краткое исчисление лишь самых важных трудов Сперанского за это время.

Богатый государственными трудами, самыми многосторонними и самыми важными, этот период в жизни Сперанского в высшей степени беден служебными и иными личными успехами. Произведенный, еще до приближения к власти, в 1801 году, в действительные статские советники, Сперанский за все десятилетие, когда, состоя сначала при министре внутренних дел Кочубее, потом при Александре I, располагал громадной властью и влиянием, получил всего в общем порядке чинопроизводства в 1809 году чин тайного советника и никаких материальных гарантий своей независимости в будущем, хотя такие гарантии в виде всемилостивейших пожалований и были тогда общим правилом. Сперанский не последовал этому правилу и с высоты своей власти пал в 1812 году таким же бедняком, каким был за десять лет до того, до приближения к власти. Не более того заботился Сперанский о приобретении и других гарантий своего положения, вроде установления связей и отношений с влиятельными вельможами того времени. Овдовев молодым человеком, Сперанский, как мы уже знаем, остался навсегда вдовцом. Будучи первым после императора человеком в империи, тридцати с небольшим лет, он отличался к тому же привлекательной наружностью, симпатичным характером и, по общему свидетельству, имел успех среди женщин. Однако, оставаясь романтически верен памяти жены, Сперанский не попробовал закрепить свое положение брачными узами с аристократией. Столь же мало приложил он старания и заботы об укреплении дружеских связей с вельможным и сановным миром, охотно искавшим этой дружбы. Описав скромное жилище Сперанского, барон Корф так продолжает: “Жилищу соответствовал весь образ жизни – скромный, тихий, уединенный. Еще во время служения своего в министерстве внутренних дел наперсник Кочубея был довольно недоступен“. Эта недоступность извинялась многоделием... Впоследствии, когда император Александр приблизил его к себе, Сперанский, оставаясь по-прежнему более работником, нежели царедворцем, еще реже стал показываться в свете... Вспоминая в Перми об этой эпохе своей жизни, Сперанский рассказывал, как он работал нередко по

восемнадцать часов в сутки и до того расстроил свое здоровье, что не мог под конец употреблять пищи, не приняв наперед лекарства, а временами по целым неделям не мог разогнуть спины".

При такой работе, конечно, некогда было устанавливать связи в высшем обществе, где им были недовольны за это и он не имел партии. Скромная обстановка, более нежели скромные средства, уединенный образ жизни, весь посвященный государственным делам, громадные труды и гордая нравственно-независимая изолированность от придворного, вельможного и сановного мира с его интригами и партиями; наконец, отсутствие всякой заботы о личной карьере и редкая преданность заботам о государственных и общественных нуждах – в таких чертах вырисовывается жизнь и личность Сперанского в этот период его силы и власти. Немудрено, если его личная карьера оказалась вскоре столь непрочной. Немудрено также, если плоды его забот и трудов на пользу государственную и общественную оказались в то же время столь обильны, разнообразны и благодетельны. И чем выше и серьезнее было значение его государственной деятельности, тем превратность его личной карьеры должна была обнаружиться быстрее и трагичнее. Остановимся вкратце на деятельности Сперанского, чтобы затем перейти к жестоким превратностям личной жизни русского реформатора.

"Из мысли Александра I дать своему государству новое органическое устройство, читаем мы у барона Корфа, – естественно, истекала и мысль о составлении законов гражданских". Александр сначала поручил это дело известному екатерининскому вельможе и деятелю, графу Завадовскому; дело не клеилось и было передано в министерство юстиции, где министром в это время был князь Лопухин (прежний генерал-прокурор, см. выше гл. II), а товарищем самый талантливый и образованный член неофициального комитета, Новосильцев. Комиссия составления уложения была организована на широких основах. Под непосредственным руководством Новосильцева, главное заведование работами было поручено ученому, немецкому юристу барону Густаву Розенкампфу. Это было в 1803 году. Дело, однако, не двигалось, и в осень 1808 года состоялось высочайшее повеление о назначении Сперанского членом комиссии. "Это назначение было тяжелым ударом для Розенкампфа, – пишет барон Корф. – При Лопухине и Новосильцеве он умел поставить себя в независимое положение и, распоряжаясь в комиссии полным хозяином, мечтал о славе быть единственным законодателем России, а еще более об ожидавших его за то почестях и наградах. И вот честолюбивые

замыслы его были потрясены в основании: он очень хорошо знал деятельность и дарования нового члена совета комиссии, зная и то, что Сперанский поступает в нее не с целью быть праздным свидетелем чужих трудов. Нетрудно поэтому понять, что Розенкампфом, при его тщеславном, наклонном к интриге и мечтательном характере, с самой первой минуты овладела глубокая ненависть к человеку, так внезапно ставшему на его пути, и что уже никакие действия этого человека не могли найти себе пощады перед его судом". Отмечаем эту черту, потому что вскоре разные вельможные враги Сперанского воспользовались этой тупой ненавистью немецкого гелертера, чтобы добыть против Сперанского и его деятельности аргументы и "от науки".

Назначение Сперанского состоялось 8 августа, затем последовала поездка в Эрфурт, а вскоре по возвращении Сперанский был назначен на место Новосильцева товарищем министра юстиции, со специальным поручением взять в свое ведение и руководство комиссию законов. Состав ее и штат были немедленно преобразованы, и 8 февраля 1809 года проект уложения гражданских законов был готов вчерне, а с 1 мая, когда собрался новый совет комиссии (Сперанский, Лопухин, Завадовский, Новосильцев, Чарторыйский, Потоцкий, Алексеев и Карнеев), был уже внесен на ее рассмотрение. В рассмотрении, исправлениях и печатании прошла остальная часть 1809 года, а 1 января 1810 года, при самом открытии государственного совета первая часть гражданского уложения была внесена в государственный совет. Сама комиссия получила преобразование; она, с *директором* Сперанским во главе, была причислена к государственному совету, а ее собственный совет упразднен. По мере того, как государственный совет рассматривал, при деятельном участии Сперанского, первую часть, готовилась и редактировалась вторая (право вещественное) и третья (право договорное). Как шла эта громадная работа, сообщает барон Корф: "Розенкампф еще упражнялся в составлении предварительных проектов, но участие его в том оставалось уже без всяких результатов для дела. Все, что он писал, было беспощадно мараемо Сперанским и большей частью переделываемо заново. Впрочем, как уже не существовало никаких предварительных комитетов или советов, то все, под собирательным именем комиссии законов, ограничивалось личной работой его директора. Первая и вторая части были рассмотрены и одобрены государственным советом в течение 1810 года, но затем дело затянулось, и третья часть рассматривалась уже после падения Сперанского. Уложение это, как известно, никогда не стало законом, как многое из трудов

Сперанского, брошенных с его падением. Сам Сперанский впоследствии не был особенно высокого мнения об этой работе своей, но, кроме этого мнения человека скромного и во многом частью разочарованного, никто из наших ученых юристов, сколько нам известно, не взял на себя труд оценить громадную работу Сперанского, сделанную в такой короткий срок и, можно сказать, без сотрудников".

Сверх гражданского уложения комиссия законов при директорстве Сперанского или, точнее выражаясь, сам Сперанский приступил к составлению устава гражданского судопроизводства и уложений уголовного и торгового.

Сверх этих двух громадных трудов, и текущее законодательство того времени не миновало рук Сперанского, а многое и его инициативы. "Не подлежит сомнению одно, – пишет барон Корф, – все публичные акты тех годов (1808 – 1812 года), все манифесты, все важнейшие именные указы, даже такие положения, которые, принадлежа непосредственно к разным частям управления, долженствовали, казалось, истекать прямо от их ведомств, – все это было не только написано Сперанским, но большей частью им же и задумано". Из этой массы работ Сперанского остановимся лишь на тех, которые, несомненно принадлежа его творческому уму и его инициативе, имеют историческое значение.

27 ноября 1807 года образован был комитет о духовных училищах в России, членом которого был назначен Сперанский. Общий план образования этих училищ и мысль об отнесении их содержания на свечной сбор принадлежат Сперанскому. Положение, им выработанное, было утверждено 26 июля 1808 года. 9 февраля 1809 года был им представлен и вскоре утвержден устав духовных академий.

18 августа 1808 года Сперанский был назначен в комитет по крестьянским делам Лифляндии, а в начале 1809 года ему было поручено ведение дел и устройство отношений только что присоединенной Финляндии. Прием и переговоры с финляндской депутацией о проектах первых организационных планов финляндской конституции были поручены Сперанскому и выполнены им же. 16 марта 1809 года был открыт Александром в Борго первый финляндский сейм. Известная историческая речь, которой сопровождалось это открытие, была написана Сперанским, как и речь 7 июля того же года, которой сейм был закрыт. Во все время совещаний сейма Сперанский был при Александре в Борго, и все учредительные мероприятия этого времени – дело его трудов, между прочим, учреждение финляндского сената. Финляндцы, в воздаяние его заслуг перед

их страной, избрали его канцлером Абосского университета.

К этому же времени относятся два указа, изданные по инициативе Сперанского и произведшие сильное впечатление. 3 апреля 1809 года издан указ о придворных званиях, а 6 августа того же года – указ об экзаменах на чины. Первый указ был направлен против незаслуженно быстрого возвышения по службе молодых вельмож, а второй – против массы старослуживого, но мало образованного чиновничества. Экзамены, которые отныне требовались для получения чина коллежского асессора и статского советника, закрывая дорогу необразованному чиновничеству того времени, открывали более быструю карьеру образованному молодому меньшинству, с пути которого удалялись и вельможные сынки указом 3 апреля. Дело в том, что до этого указа с придворными званиями (камер-юнкер, камергер и так далее) соединялись и возведения в значительные чины, а эти чины, полученные не за службу, а за принадлежность к аристократии, открывали их обладателям и служебную карьеру сразу с высоких степеней. Несомненно, что оба указа, устраняя преимущество рождения и выдвигая преимущество образования, были и справедливы, и полезны, но несомненно также, что они должны были и действительно создали Сперанскому целые легионы сильных и озлобленных врагов. Многочисленное чиновничество, с одной стороны, а с другой – вельможная аристократия, дети которой затруднялись в своей карьере, были задеты указами в самых существенных интересах и, конечно, никогда не могли простить этих ударов нашему реформатору, которому уже с этих пор начали присваивать звание “опасного”.

Отметив еще, что в 1810 году по плану Сперанского, был учрежден Царскосельский лицей, где впервые в закрытом учебном заведении было запрещено телесное наказание, – мы должны упомянуть о его деятельности по устроению финансов. Положение русских финансов в это время было самое печальное. Расточительная политика Екатерины, неумелое управление финансами при Павле, войны времен Александра привели наше государственное хозяйство к следующему состоянию: в 1809 году все доходы равнялись 125 миллионам, расходы, несмотря на мирное положение этого времени, достигали 230 миллионов, превышая доходы не более не менее как вдвое; ассигнационный долг простирался уже до 577 миллионов (и в одних новых выпусках бумажек финансовое ведомство видело источник для покрытия дефицита, а бумажки уже упали до четверти номинальной цены), при этом ни малейшего запасного или разменного фонда и управление, как этой громадной кредитной операцией, так и всем государственным хозяйством – самое

беспорядочное. До какой степени финансовое ведомство того времени было чуждо финансового и экономического образования, можно видеть из того, что мысль об ассигнациях, как долговых знаках государства, была для него совершенной новостью; ассигнационные бумажки считались просто деньгами. Такое положение финансов обратило наконец внимание Александра, и в ноябре 1809 года – как раз по представлении Сперанским плана политической реформы в России, по введении нового политического устройства Финляндии и в разгар работ по составлению гражданского уложения, – высочайше повелено Сперанскому "составить определительный и твердый план финансов". Со свойственным ему жаром принялся Сперанский за это новое дело, пригласив в сотрудники одного из немногих образованных экономистов того времени, Балугьянского, и опираясь преимущественно на идеи Адама Смита, книга которого "О богатстве народов" тогда была еще новостью не в одной России. Не более как через два месяца после высочайшего повеления Сперанский и Балугьянский могли уже представить Александру главные основания финансового плана. Основная мысль плана непосредственно истекала из только что оконченного организационного плана: "Всякий финансовый план, – гласила объяснительная записка Сперанского, – указывающий способы легкие и не полагающий никакого ограничения в расходах, есть явный обман, влекущий государство к погибели". 1 января 1810 года Александр лично внес этот план в государственный совет, а 2 февраля он был утвержден и обнародован при высочайшем манифесте, написанном Сперанским. Манифест заключал в себе признания, что финансы худо управлялись и что состояние их было очень печальное. Ассигнации объявлены государственным долгом, обеспеченным всем казенным имуществом, и обещано прекращение их дальнейшего выпуска. Для покрытия дефицита 1810 года были значительно сокращены расходы и установлены новые налоги, между прочим налог с дворянских имений, изъятых от податей. Прежний министр финансов Голубцов был сменен, и назначен на его место Гурьев, несколько лучше экономически образованный. Сперанский, однако, в течение целых двух лет до своего падения (1810 – 1811 годы) продолжал быть истинным руководителем финансового управления, что привело к сильному неудовольствию Гурьева, охотно примкнувшего к вельможной и сановной оппозиции Сперанскому и посодействовавшего низвержению нежеланного финансового ментора. В это время был утвержден план погашения ассигнаций, для чего начата распродажа государственных имуществ; с этой же целью

установлены специальные налоги и проектированы займы. Все эти заботы привели к тому, что государственная роспись на 1811 год уже заключалась остатком в 6 миллионов. В 1812 году, после падения Сперанского и ввиду Отечественной войны, все эти плоды упорядочения финансовой системы исчезли немедленно.

Эти труды по устроению государственных финансов заняли конец 1809 и первую половину 1810 года, вторая же его половина и часть 1811 года посвящены были преобразованию положения, в которое наше законодательство ставило внешнюю торговлю. Беспорядочный тариф, не ведавший никакой системы, вывозные пошлины, стеснявшие экспорт и тормозившие национальное производство; стеснительные условия навигации, заставлявшие иностранные суда избегать русские порты, – все это было по достоинству оценено Сперанским. По совещании с представителями купечества под руководством Сперанского был составлен первый стройный систематический таможенный тариф, послуживший прототипом всех наших последующих тарифов. Навигация настолько упорядочена, что немедленно сказалось значительным оживлением портовых оборотов. Эта организация условий внешней торговли, вместе с идеей погашения и консолидации беспроцентного долга, были крупными вкладами Сперанского в наше государственное хозяйство и принесли свои плоды. Отметим еще, что Сперанским же около этого времени указан был Канкрин, в то время еще молодой, начинающий чиновник, как самый способный и толковый финансист.

В этих финансовых и экономических трудах Сперанского достойно отметить еще одну черту, ввиду современных ему сплетен о его франкофильстве, доходившем до пожертвования русскими интересами и до измены. В уставе о ввозных пошлинах 1810 года впервые были обложены чувствительной пошлиной многие французские товары (предметы роскоши), до того времени почти беспошлинно обращавшиеся в России. Такое обложение французской промышленности и стеснение ее сбыта вызвало негодование Наполеона, которое дошло до крайней степени, когда ему стали известны новые правила о навигации в русских портах. Эти правила были так составлены, что английские суда под нейтральным американским флагом получили доступ в русские порты, что и было прямой целью Сперанского, сознававшего весь вред континентальной системы для России.[5] Эти два акта государственной деятельности Сперанского имели, конечно, и свое влияние на то враждебное России настроение, которое именно в это время начало проявляться в политике Наполеона и привело к великому катаклизму 1812 – 1815 годов. Не менее независимой от всякого

франкофильства была та иностранная политика, проводником которой был Сперанский в это время. Канцлер Румянцев и официальное русское представительство в Париже принадлежали к горячим сторонникам французского союза, который и был официально внешней основой русской международной политики; но для людей дальновидных, к числу которых принадлежал Сперанский, была ясна непрочность этого союза, и вечно колеблющийся, нерешительный Александр старался удовлетворить обе стороны. Румянцев руководил официальной дружеской Франции русскою политикою, а Сперанский сосредоточивал в своих руках нити тайной политики, не доверявшей наполеоновской дружбе и зорко следившей за его отношениями. Нессельроде, будучи канцлером при Николае, а в то время атташе при русском посольстве в Париже, находился в постоянных сношениях со Сперанским, через которого Александр в глубокой тайне недоверчиво следил за своим могущественным союзником. Трудно поэтому допустить, чтобы Александр именно в это время мог поверить клевете об измене Сперанского.

Таковы были многочисленные и многосторонние труды Сперанского по законодательству и управлению, повсюду оставившие глубокие следы его деятельности, но еще более того обещавшие и подготовлявшие. Финансовые планы Сперанского, как и его гражданское уложение, не увидели осуществления. Не увидела осуществления и центральная задача его деятельности, в которой, как в фокусе, сходились все остальные планы и проекты, акты и труды нашего законодателя. Мы знаем, однако, что в ноябре 1809 года Александр, по рассмотрении и одобрении плана Сперанского, решил привести его в исполнение. Сам автор плана стоял за немедленное и единовременное введение всей реформы. “Полезнее было бы, – читаем мы у Сперанского в его пермском письме к Александру, – все установления сего плана, приуготовив вдруг, открыть единовременно; тогда они явились бы все в своем размере и стройности и не произвели бы никакого в делах смешения. Но В. В. признали лучшим терпеть на время укоризну некоторого смешения, нежели все вдруг переменить, основавшись на одной теории”. Решено было вводить реформу постепенно и первым шагом должно было быть образование государственного совета, которое и осуществилось в *положении,* нами выше вкратце изложенном. 1 января 1810 года состоялось торжественное открытие нового учреждения, предназначенного увенчать собой систему высших государственных учреждений. Все приготовления сделаны были в глубокой тайне, в которую были посвящены весьма немногие, да и то в самые последние дни. 31 декабря 1809 года вечером тридцать пять сановников, предназначенных

состоять членами совета, получили повестки собраться на другой день (в Новый год) утром, в половине девятого, в одной из зал дворца. “К девяти часам прибыл Государь, – читаем мы у барона Корфа. – Собрание это было необыкновенно торжественно и никогда еще никакое учреждение не открывалось так в России. Александр с председательских кресел произнес речь, исполненную чувства, достоинства и таких идей, которых также никогда еще не слыхали с престола. Эта речь была сочинена Сперанским, но собственноручно исправлена Государем. Потом новый государственный секретарь Сперанский прочитал манифест об образовании Совета, самое положение о нем, список председателей департаментов, членов и чинов канцелярии и расположение дней заседаний. Для большей части присутствовавших все это было совершенно ново по содержанию, еще более ново по духу. Наконец Государь вручил председателю проект гражданского уложения и план финансов, для внесения в департаменты совета по принадлежности. В заключение члены подписали присягу, для которой была тоже особая, совершенно отличная от обыкновенной форма”. Манифест, обнародованный во всеобщее сведение, между прочим, гласил, что “законы гражданские, сколько бы они не были совершенны, без государственных установлений не могут быть тверды”; при этом сенат и совет названы *сословиями,* а задачею государственной организации было указано “учреждение образа управления на твердых и непременяемых основаниях закона”.

Таким образом, первый шаг был сделан. Сперанский напоминал постоянно о необходимости идти дальше и осуществлять, хотя бы по частям, весь план реформы, одобренный в ноябре 1809 года. “Одним сим учреждением (то есть советом), – писал Сперанский в представленном государю отчете государственного секретаря, – сделан уже безмерный шаг от самовластия к известным формам монархическим. Два года тому назад умы самые смелые едва представляли возможным, чтобы Российский Император мог с приличием сказать в своем указе “вняв мнению совета”; два года тому назад сие показалось бы оскорблением Величества. Следовательно, пользу сего учреждения должно измерять не столько по настоящему, сколько по будущему его действию. Те, кои не знают связи и истинного места, какое Совет занимает в намерениях Ваших, не могут чувствовать его важности. Они ищут там конца, где полагается еще только начало; они судят об огромном здании по одному краеугольному камню”.

Так старался Сперанский одобрить и поддержать Александра, осаждаемого ярой оппозицией, в это время уже образовавшейся

против всего, что предпринимал Сперанский. Недовольное вельможество, озлобленное старослужилое чиновничество, испугавшееся за крепостное состояние дворянство, оскорбленные самолюбия сильных мира, при полной неизвестности задуманных реформ и при самых противоречивых и тревожных слухах, – все это соединилось, чтобы противодействовать реформаторской деятельности великого государственного человека, волею императора поставленного у кормила нашего государственного корабля. Оппозиция росла. Александр колебался в своих решениях и начал, по-видимому, именно в это время колебаться и в своих мнениях. Сперанский начинал замечать это колебание и по мере сил боролся с ними логическими доводами (единственное оружие, которым он располагал). “При сем составе совета, – писал он Александру, – нельзя, конечно, и требовать, чтобы с первого шага поравнялся он в правильности рассуждения и в пространстве его сведений с теми установлениями, кои в сем роде в других государствах существуют. Недостаток сей не может, однако же, быть предметом важных забот. По *мере успеха в прочих политических установлениях,* и сие учреждение само собою исправится и усовершенствуется. Нужно только вести его единообразно и неослабно”. Таким образом, неослабное проведение в жизнь прочих политических установлений Сперанский снова настойчиво рекомендовал Александру. Решено было сделать еще один шаг и приступить к преобразованию министерств.

“Мы предложим совету, – сказано было в манифесте, – начало окончательного их (министерств) устройства и главные основания общего министерского наказа, в коем с точностью определятся отношения министров к *другим государственным установлениям,* и будут означены пределы действия и *степень их ответственности”.*

Из этого обещания было исполнено все, кроме последнего, двумя актами, рассмотренными в государственном совете в 1810 и 1811 годах. 25 июля 1810 года было обнародовано “новое разделение государственных дел в порядке исполнительном”, то есть распределение ведомств между отдельными министерствами, число и состав которых были тоже изменены, а через год, 25 июня 1811 года, издано “Общее учреждение министерств”, то есть организация, распределение и степени власти, наказ делопроизводства, новые штаты и пр. Достоинство этой работы Сперанского видно уже из того факта, что его учреждение министерств продержалось без изменения в течение всего XIX века и в главных основаниях доныне действует. Сам автор его в не раз цитированном уже пермском письме к

Александру счел возможным так оценить его: “Смею утверждать с достоверностью, что ни одно государство в Европе не может похвалиться учреждением столь определительным и столь твердым”. Наш ученый юрист, профессор Романович-Славатинский, так выражается об этой работе: “Твердость министерств испытана временем, а их внутренний строй показывает в Сперанском замечательный дар организации – отличительное свойство истинного государственного ума. Если же эти министерства стали впоследствии обильным источником бюрократизма и административных злоупотреблений, если опека над свободным развитием государственных и народных сил не всегда была благодетельной, то это не вина их творца...” Другой ученый юрист Филиппов выражается о значении министерской реформы, проведенной Сперанским, еще определеннее: “В подробностях этого учреждения были ошибки и недомолвки, на которые уже указывала современная реформе критика. Но ясно поставленная цель учреждения (“министерства учреждены на тот конец, чтобы доставить законное, строгое и точное исполнение”), определение самим законом круга задач и ведомства министров, гармоническое введение министерств в общую систему имперских учреждений, – все это было организовано так, что министерства Сперанского просуществовали более полвека без всяких почти изменений. Если к этому прибавить, что предположение Сперанского по отношению к реформе далеко не осуществилось на деле, так что он сам впоследствии называл свою организацию *полуустройством,* то нельзя не удивляться творчеству организаторской мысли, сказавшейся даже в этом “полуустройстве”. Как ни скромен был этот второй шаг государственной реформы (преобразование министерств), он возбудил против Сперанского сильное неудовольствие в самых влиятельных сановных кругах того времени. Сам Сперанский в пермском письме так характеризует это неудовольствие: “Каждый министр, считая вверенное ему министерство за пожалованную деревню, старался наполнить ее и людьми, и деньгами. Тот, кто прикасался к сей собственности, был явный иллюминат[6] и предатель государства – и это был я. Мне одному против восьми сильных надлежало вести сию тяжбу. У одного министра финансов, не говоря о других, убавлены целые два департамента и сверх того несколько отделений, и таким образом уменьшены штаты ежегодно более нежели на 100 тысяч рублей. В самых правилах наказов надлежало сделать важные перемены, отсечь притязания власти, привести ее в пределы, ограничить насильные завладения одной части над другою, – словом, все сии наказы вовсе переделать. Можно ли сего достигнуть, не прослыв

рушителем всего доброго, человеком опасным и злонамеренным?”

Так росла и умножалась со всех сторон оппозиция, сильная, многочисленная, не разборчивая в средствах, испытанная в придворных интригах, искусная в клевете и доносах. И против этой оппозиции одиноко стоял гениальный идеалист-реформатор, весь ушедший в свои планы и идеи и не желавший считаться с окружающей средою. Презирая по заслугам эту среду, он задумал сломить ее упорство и пересоздать ее. На поверку оказалось, что она сломила его идеализм, разбила его личную жизнь, уничтожила его предначертания, пересоздала весь нравственный облик ненавистного человека, благородного по природе, но не одаренного героизмом. Печальная это история, печальная и глубоко поучительная.

Глава IV. Падение и ссылка

Враждебная оппозиция реформам Сперанского и ему лично. – Принципиальная оппозиция. – Легитимистская пропаганда. – Новое настроение Александра. – Записка Карамзина. – Записки Чичагова и Розенкампфа. – Просьба Сперанского об отставке. – Балашов и Армфельд. – Недоверие, внушенное Александру. – Доносы, интриги и клеветы. – Мемуары де Сенглена. – Обвинение в иллюминатстве, тайных кознях против правительства, резких отзывах об Александре, продажности и измене. – Прощальная аудиенция. – Арест и ссылка. – Жизнь в ссылке. – Дальнейшие преследования. – Пермское письмо. – Облегчение участи. – Освобождение. – Изменения в характере и нравственном облике Сперанского

Наш одинокий реформатор с своими широкими планами и грандиозными идеями опирался в своей деятельности единственно на доверие и единомыслие императора Александра. Были и в то время люди в русском обществе, и притом в высших кругах, которые могли бы быть его единомышленниками и сотрудниками, могли бы составить его партию, но мы видели, что, оберегая свою нравственную независимость и увлекаясь чрезмерной работой, Сперанский не позаботился об этом. Стало быть, надлежало только, чтобы всегда нерешительный Александр заколебался в своих мнениях; чтобы ему, всегда мнительному, было брошено в душу зерно недоверия, – и вся сила Сперанского, все его планы и труды должны были потерпеть крушение.

Разрушить единомыслие и подорвать доверие – таковы были две задачи многочисленной оппозиции. Последняя задача, дело интриги, сплетни, ловко пущенной клеветы, искусного и беззастенчивого доноса – все это было достаточно хорошо известно врагам Сперанского, но первая задача (разрушить единомыслие Александра и Сперанского или хотя бы заставить первого усомниться) была не по плечу вельможным интриганам того времени. Они употребили, правда, для этого ученого немца Розенкампфа, но главным их союзником неожиданно для них явился Карамзин, подавший императору 28 марта 1811 года, через великую княгиню Екатерину Павловну, свою известную записку “О *древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях”*. Записка эта, написанная очень смело и критиковавшая резко деяния Александра, должна была тем большее впечатление произвести на последнего своею искренностью. Главная задача *Записки,* однако, – борьба с идеями и планами, представителем которых был Сперанский. Есть

основание думать, что Александр уже и до этого начинал колебаться в своих мнениях. Дух реставрации, легитимизма и политической реакции, вскоре окончательно возобладавший в Европе, уже начинал явно сказываться в умственном настроении европейского общества, и политическая атмосфера была им пропитана. Испания уже подняла открыто знамя легитимизма и начала национальную борьбу за него с Наполеоном. В 1809 году Австрия тоже пробовала развернуть это знамя, и в Германии эта попытка имела успех и подготовила взрыв 1813 года. Проповедники легитимизма и реставрации разъезжали по Европе, подготовляя свое дело. Петербург как единственный политический центр еще независимый от Наполеона, особенно привлекал этих проповедников. Здесь проживал Жозеф де Местр, сюда же направлялись эмиссары Бурбонов, испытанные в придворных интригах старого Версальского двора, тонко образованные, искусные диалектики. Вся эта атмосфера, враждебная либеральным идеям, с которыми Александр вступил на престол и которые Европа начинала отвергать на всем своем протяжении, не могла не отразиться и на настроении Александра. Именно это время воспитывало будущего основателя Священного союза, будущего Агамемнона консервативной и легитимной Европы. В это-то именно время и подал Карамзин свою умно и горячо составленную *Записку*.

Мы не будем, конечно, ее здесь излагать, но скажем несколько слов об общем ее духе и направлении. Сближение с Францией – в политике внешней, а во внутренней – общая политическая реформа, задуманная Александром и Сперанским, и освобождение крестьян являются главным объектом критики нашего историографа. Закон о свободных хлебопашцах, мероприятия по ограничению сдачи в рекруты не в очередь, начало освобождения крестьян в Лифляндии, – все это производило самое потрясающее впечатление на дворянство того времени, еще гораздо менее подготовленное к отмене крепостного права, нежели дворянство при Александре II. Наклонность императора к освобождению и либеральные мнения Сперанского, его главного сотрудника этого времени, были достаточно известны и порождали массу слухов, тревоживших дворянство, которое в этом кровном интересе своем сходилось с вельможеством и чиновничеством. Крепостное право объединяло интересы всех привилегированных сословий и заставляло их бояться всяких либеральных начинаний, принципиальная связь которых с падением крепостного права чувствовалась всеми. Карамзин явился искусным и талантливым выразителем тревог и опасений своего сословия: “Законодатель должен смотреть на

вещи с разных сторон, – писал он в *Записке,* – а не с одной; иначе, пресекая зло, может сделать еще более зла. Так, нынешнее правительство имеет, как уверяют, намерение дать господским людям свободу. Должно знать происхождение сего рабства”.[7] Излагая эту историю (не совсем правильно), автор приходит к заключению, что земля всегда принадлежала дворянству (“с IX века!”) и что нынешние крепостные слагаются из двух разрядов: прежних холопей, которые всегда были рабами, и потомков тех свободных крестьян, которые были прикреплены Годуновым, но, “как мы не знаем ныне, которые из них происходят от холопей и которые от вольных людей, то законодателю предстоит немалая трудность в распутывании сего узла Гордиева”. Карамзин признает за законодателем право лишь восстановить свободу потомков свободных крестьян, выражаясь его словами: “Право монарха самодержавного отменять уставы своих предместников” (в данном случае царя Бориса и других). Карамзин, правда, понимает, что освобождение *всех* крестьян может быть основано на *праве естественном,* но замечает: “Не вступая в дальнейший спор, скажем только, что в государственном общежитии право естественное уступает гражданскому”. Затем следуют всевозможные предостережения от тех ужасов безначалия, своеволия и преступления, которые ожидают Россию в случае освобождения крестьян: “Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу, – пишет по этому поводу Карамзин, – но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных, теперь они имеют навык рабов. Мне кажется, что *для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу,* к которой надо готовить человека исправлением нравственным”. С такою же решительностью и резкостью критикует Карамзин все остальные либеральные планы этого времени и представляет горячую защиту существующего строя против всяких планов преобразовать его. Он отрицает даже право за Александром: “Государь! Ты преступаешь границы своей власти. Наученная долговременными бедствиями, Россия перед святым алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти; иной не имеешь; можешь все, но не можешь законно ограничить ее!”

Таковы основы принципиальной критики всего направления, которого лучшим и серьезнейшим представителем был Сперанский. Карамзин, однако, не довольствуется критикой принципиальной, но с еще большею горячностью обрушивается на те законодательные мероприятия, в которых уже выразилось это

направление. Учреждение государственного совета, учреждение министерств, гражданское уложение, закон о сдаче рекрутов помещиками, указ о свободных хлебопашцах, финансовые планы Сперанского, – ничего не забыто в этой критике и все жестоко осуждено. Нетерпимость и явная несправедливость многих осуждений сами собою бросались в глаза и вредили тем целям, которые преследовал Карамзин, потому что вызывали протест неудовольствия в Александре; но общее настроение мыслей и чувств императора начинало уже и ранее склоняться в пользу идей, выразителем которых явился ныне Карамзин. *Записка* Карамзина дала искусно и не без таланта составленное принципиальное основание этому новому настроению Александра. В этом ее важное историческое значение вообще, в биографии Сперанского в частности. Александр, сперва недовольный крайними резкостями и несправедливостями *Записки,* затем оценил значение ее принципов и приблизил Карамзина, поощряя его в исторических трудах, которые велись и составлялись в том же духе и направлении, как и *Записка о древней и новой России.*[8]В Твери, в марте 1811 года, у великой княгини Екатерины Павловны отрывки из своей *Истории* Карамзин читал Александру. Выпущена в свет она была, как известно, значительно позже, после Отечественной войны. Явная оппозиция Сперанскому не ограничивалась *Запискою* Карамзина. Против его финансовых планов восставал министр финансов Гурьев и подал записку член государственного совета Чичагов. Враги Сперанского пользовались также услугами вышеупомянутого ученого немца Розенкампфа. Все это, вместе с общим духом легитимизма, уже начинавшего царить в умственной атмосфере того времени, все более и более отклоняло Александра от либеральных идей и все решительнее отдаляло от Сперанского. В начале 1811 года, при свидании с Карамзиным, Александр уже благосклонно выслушивает горячие возражения Карамзина против либеральных идей и поощряет его исторические труды, написанные в том же духе, однако в это время он еще не соглашается с Карамзиным. Через год, в разговоре с де Сенгленом, мы уже видим Александра, осуждающего Сперанского за либерализм. Так в течение этого времени постепенно изменялось настроение, а с ним и намерения императора. Сперанский был, конечно, теперь не у места. Александру надлежало с ним расстаться. Вопрос заключался только в том, как должно произойти это событие.

Сперанский сам начинал видеть, что он становится не ко двору. Еще в начале 1811 года он просил у Александра отставки от должности государственного секретаря и статс-секретаря по

делам Финляндии. В записке, поданной им по этому поводу, находим следующие поучительные и благородные строки: “Представляясь попеременно то в виде директора комиссии, то в виде государственного секретаря; являясь, по повелению Вашему, то с проектом новых государственных постановлений, то с финансовыми операциями, то со множеством текущих дел, я слишком часто и на всех почти путях встречаюсь и со страстями, и с самолюбием, и с завистью, а еще более с неразумием. Кто может устоять против всех сих встреч? В течение одного года я попеременно был мартинистом, поборником масонства, защитником вольности, гонителем рабства и сделался наконец записным иллюминатом. Толпа подьячих преследовала меня за указ 6 августа эпиграммами и карикатурами. Другая такая же толпа вельмож, со всею их свитою, с женами и детьми, меня, заключенного в моем кабинете, одного, без всяких связей, меня, ни по роду моему, ни по имуществу не принадлежащего к их сословию, целыми родами преследуют, как опасного уновителя. Я знаю, что большая их часть и сама не верит сим нелепостям, но, скрывая собственные страсти под личиной общественной пользы, они личную свою вражду стараются украсить именем вражды государственной. Я знаю, что те же люди превозносили меня и правила мои до небес, когда предполагали, что я во всем буду с ними соглашаться, когда воображали найти во мне послушного клиента и когда пользы их страстей требовали противоположить меня другому. Я был тогда один из лучших и надежнейших исполнителей. Но как только движением дела был я приведен в противоположность им и в разногласие, так скоро превратился в человека опасного и *во все то, что Вашему Величеству известно более, нежели мне.* В сем положении мне остается или уступить им, или терпеть их гонение. Первое я считаю вредным службе, унизительным для себя и даже опасным. Дружба их еще более тягостна для меня, нежели разномыслие. К чему мне разделять с ними дух партий, худую их славу и то пренебрежение, коими они покрыты в глазах людей благомыслящих? Следовательно, остается мне выбрать второе. Смею думать, что терпение мое и опыт опровергнут все их наветы. Удостоверен я также, что одно слово Ваше всегда довлеет отразить их покушения. Но к чему, Всемилостивейший Государь, буду я обременять Вас своим положением, когда есть самый простой способ из него выйти и раз навсегда прекратить тягостные для Вас и обидные для меня нарекания?”

Александр, однако, не принял отставки Сперанского и оставил его во всех должностях и обязанностях. Сперанский продолжал свое дело с прежней энергией, хотя и без прежней

уверенности в его полном осуществлении. Последнее видно из его частной переписки этого времени, а первое – из массы совершенного им за этот последний год его государственной деятельности.

Что было совершено Сперанским в это время, видно из следующего беглого перечисления: учреждение министерств, проект учреждения сената, третья часть гражданского уложения, проект устава о судопроизводстве, таможенный тариф и пр. А мысли его о вероятной будущности его планов видны из следующего отрывка из письма его к Столыпину в октябре 1811 года: "Поездка, а паче воздержание от излишних затей по службе возвратили мне почти все мое здоровье. *Я называю излишними затеями все мои предположения и желание двинуть грубую толпу, которую никак сдвинуть с места не можно"*.

Разномыслие между императором и Сперанским постепенно увеличивалось и к началу 1812 года, как выше упомянуто, стало столь значительным, что удаление Сперанского сделалось естественным и необходимым выводом из этого факта. Вельможные враги Сперанского постарались о том, чтобы вместе с разномыслием поселить в душе Александра неудовольствие и недоверие. Самая беззастенчивая клевета, прямая фальсификация и подделка документов, явно измышленные ложные сведения – таковы были орудия, низвергнувшие Сперанского и превратившие его удаление, исторически естественное, в жестокое падение и беспощадную расправу, которою так трагически завершилась государственная деятельность этого благородного и высокодаровитого государственного человека, так много и бескорыстно потрудившегося на пользу общую и для славы своего государя и своего отечества. Мы уже видели, что в самом начале 1811 года Сперанский настолько ощутил разномыслие с Александром, что просился в отставку. Из этой записки ясно также, что уже тогда, за год с лишком до его падения, он был окружен сплетнями, клеветами и интригами, о которых он говорит с благородным презрением. Были в то время уже и доносы императору. Это видно из той же просьбы об отставке.

В феврале Александр не принял этой просьбы и разрешил дальнейшие шаги реформы (учреждение министерств и сената); в марте подал свою *Записку* Карамзин, а в августе Александр уже поручает министру полиции Балашову установить тайный надзор за Сперанским и его личными друзьями. К этому времени, стало быть, вместе с усилившимся разномыслием, в душе Александра уже возникло и недоверие к Сперанскому. Не внушено ли было ему подозрение, что Сперанский, разочарованный в возможности осуществить свои заветные идеи *при помощи и по желанию*

Александра, способен искать путей и средств осуществить их *помимо и даже вопреки* его воле и намерениям? Несколько позднее, в декабре того же 1811 года, Александр серьезно подозревал его в принадлежности к тайному международному союзу иллюминатов и почти верил, что Сперанский – глава этого революционного масонства в России. Так развивалась постепенно интрига, руководимая опытными и испытанными в придворных интригах царедворцами. “Сперва, однако, – читаем мы у барона Корфа, – они предпочли попытаться на разделение со Сперанским власти, что, во всяком случае, казалось тогда (во второй половине 1811 года) легче, чем ее сокрушить. Два лица, уже облеченные в некоторой степени доверием государя, предложили его любимцу приобщить их к своим видам и учредить из них и себя, помимо монарха, безгласный тайный комитет, который управлял бы всеми делами, употребляя государственный совет, сенат и министерства единственно в виде своих орудий. С негодованием отвергнул Сперанский их предложение, но он имел неосторожность, по чувству ли презрения к ним, или, может быть, по другому тонкому чувству, по неспособности к доносу, умолчать о том пред государем”. Биограф Сперанского считает это “благородное отвращение от доноса непростительною политическою ошибкой”. “Промолчав, Сперанский дал своим врагам способ сложить вину своих замыслов на него, связать ему руки, заподозрить его искренность”. “Падение его сделалось неизбежным”, – заканчивает барон Корф рассказ свой об этом эпизоде, поясняя, что Сперанский “не разглядел расставленные ему сети”.

Эти два лица, уже облеченные до некоторой степени доверием государя, как их определяет барон Корф, были: барон Армфельд, шведский аристократ, незадолго перед тем перешедший в русское подданство и находившийся в тесных связях с эмиссарами Бурбонов, и Балашов, министр полиции. Они-то предлагали Сперанскому союз для управления государством в своих видах и, получив отказ, “сложили вину своих замыслов на него”, как осторожно выражается барон Корф. Около того времени мы и встречаемся уже с поручением Александра одному из них, Балашову, учредить тайный надзор за Сперанским. Зерно недоверия и подозрения уже было брошено в душу императора. Оно быстро развивалось, питаемое дальнейшими сведениями, доставлявшимися Александру. “На помощь этим наветам, – пишет Корф, – и тому впечатлению, которое оставила в уме государя предшествовавшая им *Записка* Карамзина, стали появляться подметные письма, расходившиеся по Петербургу и Москве в тысяче списков и обвинявшие

Сперанского не только в гласном опорочивании политической нашей системы, не только в предсказывании падения империи, но даже и в явной измене, в сношениях с агентами Наполеона, в продаже государственных тайн и пр. За двумя главными союзниками, положившими основу всему делу, потянулась толпа немалочисленных их клевретов. Что сегодня государь слышал в обвинение Сперанского от одного, то завтра пересказывалось ему снова другим, будто бы совсем из иного источника, и такое согласие вестей, естественно, должно было поражать Александра: он не подозревал, что все эти разные вестовщики – члены одного и того же союза". Два главных заговорщика показывали вид, что в ссоре, и делали даже друг на друга доносы.

В это время правителем дел у Балашова служил некий де Сенглен, которого министр употреблял для своих дел как ловкого и способного человека, обладавшего лоском европейской образованности, качеством, редким в полиции того времени. Ему Балашов поручил ближе познакомиться с прибывшим в это время в Петербург французским дворянином Шевалье де Вернегом.

– Это тайный дипломатический агент Людовика XVIII, – сообщил де Сенглену Балашов, – постарайтесь с ним познакомиться поскорее: через него мы можем многое узнать.

Знакомство состоялось. "Вернег сделался вскоре у меня человеком домашним", – замечает де Сенглен в своих записках, и ловкий француз повел дело так, что не Балашов через де Сенглена "мог многое узнать от Вернега", а, наоборот, де Сенглен превратился в агента де Вернега и Армфельда, с которым де Вернег свел вскоре де Сенглена. Его-то наметил Армфельд, по указанию Бурбонского агента, в главное орудие против Сперанского и указал на него Александру, как на лучшего агента для надзора за Сперанским. В декабре 1811 года де Сенглен был втайне призван во дворец для того, чтобы возложить на него это щекотливое поручение.

Все это, как и дальнейший рассказ, основываем на повествовании де Сенглена, но при этом мы относимся к нему с большой осторожностью и, сообщая факты, снимаем с них, по возможности, все приданное им освещение. Де Сенглен старается себя обелить и все свалить на Балашова, частью же на Армфельда. Если бы в самом деле он, де Сенглен, не доносил на Сперанского, а только все узнавал от Александра, то, спрашивается, зачем бы было Александру неоднократно тайно призывать его к себе и открывать ему государственные тайны, ему, незначительному чиновнику и мелкому дворянину? Интерес, впрочем, не столько в том, *кто* донес, а *что* было донесено. С этой же стороны записки де Сенглена доставляют богатый материал.

Донесениями одного Балашова император не удовлетворялся, да и Армфельд желал, по-видимому, иметь своего человека в самом центре дела.

– *Я решительно никому не верю,* – сказал на этом свидании Александр де Сенглену и поручил ему “смотреть поближе и за Балашовым, – что узнаете, скажите мне”.

На другой день с де Сенгленом виделись Армфельд и де Вернег, все по тому же делу.

– Я сообщу вам секрет, – сказал при этом де Вернег, желая устранить его колебания. – Нам предстоит большая перемена. Россия будет спасена, и нам будет принадлежать слава, что мы этому способствовали.

Затем агент Бурбонов намекнул на падение Сперанского и Наполеона: “1812 год будет памятным годом в летописях России”.

К этому любопытному рассказу де Сенглен прибавляет от себя: “Вернег и Армфельд работали для Бурбонов”. Легитимизм протягивал руку русскому крепостничеству, чтобы низвергнуть представителя либеральных идей в русском правительстве.

В декабре 1811 года Балашов, в исполнение данного ему поручения надзирать за Сперанским, представил Александру донесение, несомненно произведшее впечатление на мнительного императора, уже без того заколебавшегося в своем доверии к Сперанскому. Балашов посетил Сперанского вечером в семь часов. “В передней тускло горела сальная свеча, во второй большой комнате – тоже; отсюда ввели его в кабинет, где догорали два восковых огарка; огонь в камине погасал. При входе в кабинет почувствовал он, что *пол под ногами его трясся, как будто на пружинах, а в шкафах, вместо книг, стоялисклянки, наполненные какими-то веществами.* Сперанский сидел в кресле перед большим столом, на котором лежало несколько старинных книг, из которых он читал одну, и, увидя Балашова, немедленно ее закрыл. Сперанский, приняв его ласково, спросил: “Как вздумалось вам меня посетить?” – и просил сесть на стоящее против него кресло, так что стол оставался между ними. Балашов взял предлогом желание посоветоваться, нельзя ли дать министерству полиции более пространства. Оно слишком сжато, даже в некоторой зависимости от других министерств, так что для общей пользы трудно действовать свободно. Много говорили о полиции Фуше, и наконец Сперанский, при вторичной просьбе Балашова о расширении круга действий министерства, сказал ему: “Разве со временем можно будет сделать это”, прибавя: “Вы знаете мнительный характер Императора”.

В этом донесении инсинуируется чуть ли не

чернокнижничество Сперанского. Это было, конечно, не умно и едва ли могло произвести впечатление на Александра, но заключительные строки доноса, цитирующие отзывы Сперанского о самом императоре, не могли не оскорбить его и не усилить его недоверия и даже раздражения. Сама инсинуация в занятиях чуть ли не черною магией могла склонить к мысли об иллюминатстве и вообще тайном обществе. Вскоре де Сенглен снова был вызван к императору. В это второе свидание Александр спросил у де Сенглена:

– Вы франкмасон или нет?

– Я в молодости был принят в Ревеле; здесь, *по приказанию министра,* посещаю ложу Астрея.

– Знаю. Это ложа Бебера. Он честный человек. Брат Константин бывает в ложе его. Вам известны все петербургские ложи?

– Кроме ложи Астрея есть ложи Жеребцова, Шарьера и Лабзина.

– А Сперанского ложу вы забыли?

– Я о ней, государь, никакого понятия не имею.

– Может быть. По мнению Армфельда, эта ложа иллюминатов, и Балашов утверждает, что они летом собираются в саду у Розенкампфа, а зимой у того и другого в доме. Нельзя ли вам поступить в эту ложу?

– Государь, если это в самом деле орден иллюминатов, то оный совершенно различен от франкмасонского. Здесь каждая ложа доступна каждому франкмасону, но надобно быть иллюминату, чтобы поступить в их собрание.

– Балашов сам вступил в ложу Жеребцова.

– Знаю, государь, от самого министра и удивляюсь, каким образом министр полиции был принят в сотрудники и собраты.

Государь засмеялся.

– Я думаю, нетрудно будет на почте перехватить переписку иллюминатов с головою их Вейс-Гауптом? Балашов говорит, что Сперанский регентом у иллюминатов.

– Я сомневаюсь, государь, как мог он узнать тайну, которая так строго соблюдается между иллюминатами.

Так передает этот замечательный разговор де Сенглен. Оставляя в стороне вопрос, насколько справедливо его показание о собственной роли в этом извете на Сперанского, ясно, тем не менее, что и Армфельд, и Балашов сообщали Александру о принадлежности Сперанского к ордену иллюминатов и что Александр был уже расположен этому поверить. Отпуская на этот раз де Сенглена, император заметил: “К чему было Сперанскому вступать в связь с министром полиции? Он был у меня в такой

доверенности, до которой Балашову никогда не достигнуть, а может быть, никому. Один – пошлый интриган, как я теперь вижу; другой – умен, но ум, как и интрига, может сделаться вредным". О связях Сперанского с Балашовым нашептывал Армфельд, про которого, однако, Александр тут же выразился: "Он хлопочет, прислуживается, чтобы урвать у меня на приданое побочной дочери".

Тут завершился 1811 год. Александр, уже разошедшийся во мнениях и планах со Сперанским, вместе с тем был уже сильно раздражен против него за его отзывы, переданные Балашовым, и склонен был поверить, что Сперанский, обманывая его доверие, добивается осуществления своих планов иными, уже антиправительственными путями, через тайные общества, через секретные связи с другими сановниками и т.д. Однако Александр еще не обнаруживал перемены своей в отношениях к Сперанскому и 1 января 1812 года пожаловал ему знаки ордена Александра Невского. Сперанский, уже ясно сознававший разномыслие с Александром, ничего, по-видимому, не подозревал о другом душевном процессе, совершавшемся в душе Александра, и по-прежнему с презрительным равнодушием относился к клевете и интриге, которая развивалась все дальше и развертывалась все смелее.

В начале 1812 года Балашов доложил Александру, что жена Н. З. Хитрово, "быв у Коленкура на вечере, принесла ему при всех скамейку, чтобы он уложил на нее свою больную ногу". Император был раздосадован этою угодливостью в то время, как уже готовились к войне с Францией. "Велено иметь за Хитрово бдительный надзор", потому что это может иметь "связь со Сперанским, ибо Воейков, правитель канцелярии военного министра, в связи с Магницким" (слова Балашова де Сенглену). Вскоре после того де Сенглен был предуведомлен Армфельдом и Вернегом, что император пришлет за ним, причем Армфельд прибавил: "Балашов представил императору несомненное доказательство вероломства Сперанского". Между тем у Хитрово был сделан обыск и сам он выслан из Петербурга. Захваченные бумаги переданы де Сенглену для разбора. "Как я ни рылся, но нигде и тени того не было, о чем мне Балашов объяснил", – отмечает де Сенглен в своих мемуарах. Балашов интересовался, есть ли письма Воейкова; нашлись, но, по свидетельству де Сенглена, без всякого политического значения. Какая-то карта расположения русских войск, будто бы найденная в бумагах Хитрово самим Балашовым, была особо представлена им государю вместе с письмом из Киева с контрактов "на имя Сперанского, которое его сильно компрометирует" (слова

Балашова де Сенглену).

“На другой день, в 6 часов пополудни, я был призван к государю”, – продолжает де Сенглен.

– С тех пор, как мы не виделись, – сказал император, – сколько происшествий! Кто мог подумать, что русский, Хитрово, мог сделаться прислужником Коленкура? Хорош и Воейков! Как выпустить из рук карту с обозначением маршрута в Вильну!

– Я, государь, этой карты не видел.

– Она у меня, – сказал государь.

– Не выкрадена ли эта карта у Воейкова? – отвечаю я.

– Нет, она прислана к Магницкому, который ее передал Хитрово. Спасибо Балашову, – он перехватил.

– Государь, я Воейкова не знаю, но удивляюсь, как на это решиться.

– Странно, что не только Воейков, но и сам военный министр (Барклай-де-Толли) утверждает, что на посланной к Магницкому карте никаких знаков карандашом не было[9]; следовательно, Хитрово чертил сам, но все же Воейков виновен.

– Конечно, Хитрово мог бы ее купить у книгопродавца и чертить по собственной воле.

– Вы военного министра не знаете? Я хочу вас с ним сблизить... Он человек честный и отличный генерал. Я поклонился.

– Вот еще новость.

И с этими словами подал мне государь распечатанное письмо. Я прочитал надпись: *Его Высокопревосходительству м. г. М. М. Сперанскому. С.-Петербург.* Сбоку приписано “со вложением 80 тысяч руб. ассигн.”. Пока я рассматривал конверт, государь смотрел на меня пристально.

– Что вы так рассматриваете?

– Это получено не по почте, печатей казенных нет.

– Балашов мне письмо представил, прочтите.

Это письмо было из Киева, с контрактом, в котором поляки благодарили за все доставленные им выгоды и в знак благодарности просили принять посылаемые 80 тыс. ассигн.

– Что скажете?

– Судя по конверту, не знаю, могли ли тут уложиться 80 тысяч? Но если могли, представлены ли Вашему

Величеству?

Государь ударил себя в лоб, сказав: “Как мне это на ум не пришло? Письмо было уже распечатано”.

– Следовательно, и деньги у него.

– Прекрасно! Я их потребую, а вам легко со Сперанским познакомиться. Вы важную услугу ему оказали.

По поручению Александра, автор цитируемых мемуаров был на другой день у Барклая. “Это все глупости, – сказал при этом военный министр, – сердят государя, а в этом ваш Балашов – великий мастер. Расстаться с Воейковым мне прискорбно будет: я к нему так привык”. Честный и не посвященный в дворцовые интриги генерал думал, что это только глупости, и не знал, что погибель Хитрово, Воейкова, Магницкого, – все это нужно лишь как ступени для достижения более громкого, исторического падения. Открывая измену, надо открыть и соучастников. Дело с картою, будто бы найденною у Хитрово и будто бы с отметками о движении армии, сделанными не то им, не то Воейковым, не то Магницким, по указаниям Воейкова, а быть может и самим Сперанским (прямо еще не назван), и предназначенною для Коленкура, это дело, как и дело о киевском конверте, продолжало развиваться. Денег Балашов, конечно, не представил, сославшись, что письмо перехвачено уже распечатанное. Это возбудило Александра против него, но, раз поверив извету, он подумал только, что Балашов деньги присвоил себе, а это, конечно, не послужило к оправданию Сперанского в том, что он продался явным сторонникам Наполеона, с которым готовилась война. Де Сенглен был снова призван. Ему дано было 5 тысяч руб. за оказанные услуги. “Из донесения графа Растопчина о толках московских, – говорил Александр, – я вижу, что там ненавидят Сперанского, полагают, что он в учреждениях министерств и совета хитро подкопался под самодержавие... Граф Марков отзывается о нем дерзко и предсказывает ужасную будущность, которую нанесет Наполеон России. Здесь, в Петербурге, Сперанский пользуется общей ненавистью, и везде в народе проявляется желание ниспровергнуть его учреждения. Следовательно, учреждение министерств есть ошибка”. Мнение Александра, стало быть, было уже составлено, и участь Сперанского была почти решена. При этом Александр даже выразился : “Интриганы в государстве так же полезны, как честные люди, а иногда первые даже полезнее последних”. О своих приближенных он отзывался: “Хорошо я окружен. Козодавлев плутует, жена его собирает дань. Балашов мне 80

тысяч не дает. Я приступаю, он утверждает, что пакет найден без денег. Все ложь! Граф Т. твердит уроки Армфельда и Вернега, который живет с его женою. Волконский беспрестанно просит взаймы 50 тысяч на 50 лет без процентов. Насилу я с ним сошелся на 15 тысяч без возврата. Вот все какие у меня помощники!”

И в это-то время горькая ирония судьбы отнимала у России благородного и бескорыстного государственного человека, которого, и оклеветанного, и заподозренного, Александр не включил в эту галерею своих сановников! Однако именно эти сановники и доставляли сведения о Сперанском.

События развивались. Война надвигалась. Александр решился еще раз посоветоваться со Сперанским о деле первой государственной важности. Верный своим мнениям, Сперанский ответил советом собрать государственную думу, рассчитывая, конечно, этим средством сделать войну популярною и превратить ее в национальную. Александр, настроение которого уже больше не гармонировало со строем идей Сперанского, остался крайне недоволен таким советом. “Что же я такое? – говорил он де Сенглену. – Нуль! Из этого я вижу, что он подкапывался под самодержавие, которое я обязан вполне передать наследникам моим”. История с картой получила новую редакцию, будто Барклай-де-Толли отправил Воейкова к государю с маршрутом всей армии в Вильну и с означением порядка марша каждого корпуса. Сперанский знал, что император этого ожидал, и был с докладом у государя, когда объявили о Воейкове. Сперанский выходит из кабинета и встречает Воейкова. “Вот он! Пожалуйте”, – сказал Сперанский и пошел с этою бумагой обратно в кабинет.

К половине марта раздражение Александра против Сперанского достигло крайнего предела. 11 марта 1812 года де Сенглен был призван к Александру утром. “Конечно, – сказал государь, – и как мне это ни больно, но со Сперанским расстаться должен. Я уже поручил это Балашову, но я ему не верю и потому велел ему взять вас с собою. Вы мне расскажете все подробности отправления”. Отправление это должно было, однако, состояться еще через шесть дней. К 17 марта все распоряжения были сделаны, а 15 марта вечером посетил императора известный физик, профессор Дерптского университета Паррот, пользовавшийся большим доверием Александра. Ему было открыто в этой вечерней беседе готовившееся событие, скрытое в глубокой тайне. Честный, далекий от дворцовой жизни с ее волнениями и интригами, ученый был страшно взволнован беседою. Александр ему сообщил об *измене* Сперанского и о своем намерении *расстрелять* государственного секретаря.

Вернувшись домой и собравшись с мыслями, Паррот решился писать императору: “В минуту, когда Вы вчера доверили мне горькую скорбь Вашего сердца об *измене* Сперанского, я видел Вас в первом пылу страсти и надеюсь, что теперь Вы уже далеко откинули от себя мысль расстрелять его. Не могу скрыть, что слышанное мною от Вас набрасывает на него большую тень, но в том ли Вы расположении духа, чтобы взвесить справедливость этого обвинения, а если бы и были в силах несколько успокоиться, то Вам ли его судить? Всякая же комиссия, наскоро для того наряженная, могла бы состоять только из его врагов”.

Далее Паррот предлагает ограничиться временно удалением Сперанского, назначив после войны законный суд. “Мои сомнения в действительной виновности Сперанского подкрепляются тем, – прибавляет Паррот, – что в числе второстепенных доносчиков на него находится один отъявленный негодяй, уже однажды продавший *другого* своего благодетеля”. В заключение Паррот замечает: “От находящих свой интерес следить за Вашим характером не укрылась, я это знаю, свойственная Вам черта подозрительности, и ею-то хотят на Вас действовать. На нее же, вероятно, рассчитывают и неприятели Сперанского, которые не перестанут пользоваться открытой ими слабой стороной Вашего характера, чтобы овладеть Вами”. Впоследствии Паррот приписывал себе зслугу спасения Сперанского от смерти (в письме к императору Николаю от 8 января 1833 года), но едва ли Александр имел когда-либо серьезное намерение казнить Сперанского. Слова, сказанные в увлечении и свидетельствовавшие лишь о степени раздражения Александра против государственного секретаря, были приняты почтенным физиком в слишком буквальном смысле. Наконец, чтобы казнить, надо было судить, а более нежели сомнительно, чтобы какой бы то ни было суд мог осудить Сперанского по тем данным, которые могли бы представить Балашов, Армфельд и их достойные сотрудники. Мы выше видели, что еще за три дня до беседы Александра с Парротом ссылка, а не суд и казнь, была предназначена для Сперанского.

Ссылка в административном порядке, без суда и публичного обвинения, всегда составляет вопрос: “За что был наказан и заточен человек?” Чему из столь разнообразных доносов и изветов поверил император, решивший участь Сперанского? Подозрение в измене руководило этим решением, или негодование за обличенную будто бы продажность (извет с киевским письмом), или намерение покарать приписанные обвиняемому дерзкие отзывы о правительстве и монархе, или опасение тайных козней и сношений с иллюминатами и

либералами, или, наконец, при неполном убеждении в каждом из этих обвинений в частности, подействовало решающим образом их соединение? Завершение первого либерального периода правления Александра, естественно, должно было сопровождаться удалением от дел Сперанского, главного представителя преобразовательной политики, но это “естественное удаление” не объясняет и не оправдывает жестокой участи, постигшей Сперанского. Выше мы собрали весь фактический материал, который может дать это объяснение. Приведем еще несколько выводов из него, сделанных современниками и потомками, государственными людьми и учеными историками: “Сперанский был жертвой Балашова и Армфельда, – пишет в своих *Записках* граф Нессельроде, – воспользовавшихся общественным мнением, враждебным к реформам, возлагавшимся на Сперанского”. Тогдашнее общественное мнение – это было мнение вельможества, дворянства и чиновничества. Мы видели мотивы их вражды к реформам, так что основная причина удаления Сперанского указана графом Нессельроде совершенно верно, но для объяснения ссылки она недостаточна. Сам Армфельд говорит де Сенглену: “Знайте, что Сперанский, виновен он или нет, должен быть принесен в жертву. Это необходимо для того, чтобы привязать народ к главе государства, и ради войны, которая должна быть национальной”. Это, выходит, похоже на то, что Армфельд навязывал императору нечто вроде известного растопчинского поступка с Верещагиным. Известно, что, возбудив население Москвы своими афишами и окруженный толпой, встревоженной слухами о сдаче, граф Ростопчин выдал ей некоего Верещагина как изменника, и пока чернь расправлялась с мнимым предателем, благоразумно оставил столицу. Александру, конечно, не нужно было скрываться от народа, ему преданного, и только иностранец, лишь вчера переменивший отечество, как меняют службу одного ведомства на другое, мог думать, что нужны какие-нибудь искусственные меры для возбуждения русских к защите России. Война, перенесенная в пределы России, становилась уже по этому одному войною национальною. Конечно, русский император не нуждался в своем Верещагине, в своем сознательно мнимом изменнике, отданном в жертву черни. Де Сенглен, однако, поверил Армфельду.

Враждебное настроение общества по отношению к Сперанскому указывало, по мнению де Сенглена, на него, и его принесли в жертву. “Таким образом, все актеры, – прибавляет де Сенглен, – кроме царя, который один был деятелен и один с Армфельдом направлял таинственно весь ход драмы, остались в дураках. Мы действовали, как телеграфы, нити которых были в

руках императора. Из чего хлопотали? О том, что давно решено было в уме государя". В последнем, по-видимому, есть доля истины. Падение Сперанского, как кажется, было предрешено сравнительно задолго до катастрофы. Александр лишь собирал данные: "Сперанский никогда не был изменником отечества, – сказал долго спустя Александр в разговоре с графом Закревским, – но вина его относилась лично ко мне". Так колебались современники в объяснении катастрофы 17 марта 1812 года. Профессор Романович-Славатинский дает сжатое резюме этих разноречивых объяснений и толкований: "Интрига воспользовалась тем мрачным состоянием духа, в котором находился император Александр в начале 1812 года, когда уже близилась война с Наполеоном. Дело интриги повели граф Армфельд и министр полиции Балашов. Сперанского прямо обвинили в измене. Государь хорошо знал неосновательность этого обвинения, но все-таки пожертвовал своим благороднейшим слугой. В лице его он хотел покарать иллюзии своей молодости". Что главная причина падения заключалась в направлении Сперанского, думали и некоторые из современников. В *Записках* Корниловича читаем: "Сперанский был сослан по наущениям шведа Армфельда и министра полиции Балашова за представленные императору проекты об отделении судебной власти от правительственной и о постепенном введении представительного правления".

Но если у Сперанского не было сильных друзей, то были все же единомышленники в русском обществе, все это деятели первой половины правления Александра. Сами враги Сперанского, как свидетельствует де Сенглен, опасались, что Сперанский может быть энергично поддержан либеральными вельможами и сановниками, в особенности графом Кочубеем и графом Мордвиновым. Друзья Сперанского рассчитывали еще на графа Шувалова. Последний действительно высказывался в пользу Сперанского, но его голос не имел большого значения. Кочубей, сам выдвинувший Сперанского и высоко ценивший его, поддался в это время влиянию сплетен и великосветских клевет. Не доверяя, конечно, толкам об измене, он заколебался в вопросе о корыстности и интересовался состоянием Сперанского. Это временное колебание, скоро прошедшее, заставило, однако, Кочубея воздержаться от всяких шагов в пользу Сперанского, с которым вскоре, еще опальным, он возобновил дружеские сношения и переписку. Заступничество Кочубея, однако, едва ли принесло бы пользу Сперанскому, как не принес ему пользы Мордвинов, в то время более влиятельный нежели Кочубей. Не будучи в состоянии спасти Сперанского, Мордвинов, этот рыцарь

чести и благородства, подал в отставку. Не получая формального увольнения, Мордвинов все-таки оставил Петербург немедленно после высылки Сперанского и не стеснялся громко защищать последнего.

Между тем Сперанский ничего не подозревал и продолжал спокойно работать в тиши своего кабинета и вести свой обычный уединенный образ жизни, посещая немногих близких знакомых. 17 марта 1812 года, в воскресенье, он обедал у приятельницы своей покойной жены, г-жи Вейкардт. Сюда явился фельдъегерь с приказанием явиться к государю в тот же вечер, в 8 часов. “Приглашение это, которому подобные бывали очень часто, не представляло ничего необыкновенного, – замечает барон Корф, – и Сперанский, заехав домой за делами, явился во дворец в назначенное время. В секретарской ожидал приехавший также с докладом князь А. Н. Голицын, но государственный секретарь был позван раньше”. Александр объявил Сперанскому об ожидавшей его участи: *удаление от дел и ссылка под надзор полиции в Нижний Новгород.* Но какая причина этого жестокого решения? Ни об измене, ни о продажности Александр ничего не сказал Сперанскому. Здесь, лицом к лицу со своим сотрудником стольких лет, император не произнес обвинения, еще за день лишь сообщенного Парроту. Его ли, Сперанского, обвинять в продажности и корыстных видах, его, который не воспользовался своею близостью к императору и его расположением и ничего для себя не исходатайствовал, ни аренд, ни земель, ни капиталов, как то было тогда в обычае? Его ли, Сперанского, обвинять в франкофильстве и пожертвовании русскими интересами, когда исключительно благодаря его инициативе и энергии был создан таможенный тариф 1810 года, столь сильно повредивший французской торговле и промышленности и открывший вместе с тем первую серьезную брешь в континентальной системе, этом любимом детище Наполеона? Ему ли, наконец, предъявлять обвинение в измене в интересах Франции и Наполеона, когда именно через него в течение стольких лет Александр направлял свою неофициальную политику, не доверявшую официальной французской дружбе? Личность Сперанского, представшая Александру в этот вечер во всем его скромном, нравственном величии, одним своим появлением отстранила все эти обвинения... Что же оставалось? “Я не знаю в точности, – пишет в своем пермском письме Сперанский, – в чем состояли секретные доносы, на меня возведенные. Из слов, которые, при отлучении меня, Ваше Величество сказать мне изволили, могу только заключить, что были три главные пункта обвинения: 1) что финансовыми делами я старался расстроить государство, 2)

привести налогами в ненависть правительство и 3) отзывы о правительстве". Первые два пункта имеют очевидную связь с записками Карамзина, Чичагова и Розенкампфа, а последний – с вышеприведенным доносом Балашова. Покуда продолжалась эта последняя аудиенция, князь Голицын и генерал-адъютант граф Павел Кутузов ожидали в секретарской. Наконец вышел Сперанский. Он был "почти в беспамятстве, вместо бумаг стал укладывать в портфель свою шляпу и наконец упал на стул, так что Кутузов побежал за водой. Спустя несколько секунд дверь из государева кабинета отворилась, и Александр показался на пороге, видимо расстроенный: "Еще раз прощайте, Михаил Михайлович", – проговорил он и потом скрылся.

Сперанский отправился домой, где его с полицией ждали Балашов и де Сенглен, уже успевшие выпроводить Магницкого и ныне с тревогой ожидавшие Сперанского, слишком замешкавшегося у государя. По собственному сознанию де Сенглена, и ему, и Балашову приходило-в голову: "Ну, а если *он* оправдается и, вместо Сперанского, отправлены будут они, Балашов и де Сенглен?" "Признаюсь, – говорил Балашов, – эта мысль тревожила и меня. Чего доброго? Ни на что полагаться нельзя". Наконец въехала карета. Это был Сперанский, у заговорщиков отлегло от сердца. Засим все последовало, как принято. Бумаги были собраны и заперты в кабинете, который был запечатан де Сенгленом. Некоторые, отобранные Сперанским и запечатанные им в конверт, вручены Балашову для передачи в собственные руки императору. Сперанский не захотел тревожить спавшую дочь и, сделав распоряжение о следовании семейства за ним (то есть тещи и дочери), простился с прислугою. С частным приставом Шипулинским его помчали в ссылку, через Москву, в Нижний Новгород. Так совершилось это историческое событие и так завершился первый период правления Александра I, период либеральных начинаний и преобразовательных планов.

Не рассказываем печальной истории ссылки Сперанского. Ограничиваемся следующей краткой, но живописной характеристикой, сделанной профессором Романовичем-Славатинским: "Оскорбляемый на пути всеми встречными, даже ямщиками, Сперанский скоро был доставлен в Нижний, откуда его перевезли в Пермь. Здесь положение его сначала было таково, что он нуждался в насущном хлебе и должен был закладывать царские подарки и пожалованные ему ордена, чтобы добывать небольшие суммы денег. А его, имевшего незадолго пред тем в руках своих все финансы империи, подозревал даже Кочубей в приобретении больших богатств! Велики были и оскорбления, которым подвергался в Перми наш реформатор: враждебные ему

демонстрации делал архиерей даже во время божественной литургии, когда изгнанник отводил свою душу молитвой; уличные мальчишки дразнили его криком “изменник, изменник!” и бросали в него грязью. Нуждаясь в средствах к жизни, всеми оскорбляемый, Сперанский в январе 1813 года написал из Перми свое знаменитое письмо к государю, полное достоинства и гордого сознания своей правоты и заслуг перед отечеством. В письме этом он оправдывал совершенные им реформы, вспоминал свои прежние интимные беседы с государем: “Что другое вы слышали от меня, кроме указаний на достоинство человеческой природы, на высокое ее предназначение, на закон всеобщей любви, яко единый источник бытия, порядка, счастия, всего изящного и высокого?” Государь дозволил Сперанскому переехать из Перми в новгородское поместье Великополье, принадлежавшее его дочери. Здесь начинаются искательные сношения с Аракчеевым, которые ложатся некоторой тенью на светлый образ нашего реформатора.

Через Аракчеева, уже всесильного в это время, Сперанский добивался свободы. Кто знает, какой душевный процесс совершался в Сперанском в эти долгие годы заточения (освобожден из Великополья он был только 30 августа 1816 года, то есть через четыре с половиной года после ареста), при виде всех рушившихся планов своих, при размышлении о подрастающей дочери, при перенесении всех этих незаслуженных оскорблений и утрат... Возвратился он на поприще государственной деятельности уже иным человеком. Не лихоимец и не продажный, он становится и не таким бессребреником; он ищет себя обеспечить, составить состояние... Не изменник своих учреждений, никогда не предававшийся служению реакции, как Голицын, Магницкий и другие, он, однако, идет теперь на компромиссы, ищет поддержки у сильных мира, старается завязать связи и отношения, становится искателен, часто надевает личину. Сперанского этого второго периода его государственной деятельности называет Н. И. Тургенев человеком без души, а граф Канкрин – великим ипокритом.[10] Но этот видимый политический индифферентизм, поразивший Тургенева, и это политическое лицемерие, подмеченное Канкриным, были равно чужды Сперанскому, как мы его знаем в первый период его государственной деятельности. Он их вынес из жестокого испытания, столь незаслуженного и столь долгого, и внес их в свою деятельность второго периода. Об этой деятельности мы расскажем вкратце в следующей главе.

Глава V. Государственная деятельность второго периода

Просьба Сперанского о суде над ним. – Назначение в Пензу губернатором. – Губернаторство. – Отношение населения. – Частная государственная деятельность. – Назначение сибирским генерал-губернатором. – Печальное состояние Сибири. – Сибирская ревизия. – Сибирская реформа и ее значение. – Возвращение в Петербург. – Работы по гражданскому уложению. – Отношения к Аракчееву. – Кончина Александра и воцарение Николая. – Суд над декабристами. – Кодификация. – Заботы о высшем юридическом образовании в России. – Преподавание правоведения наследнику престола. – Участие в комитете 6-го декабря. – Милости и награды. – Частная жизнь после ссылки. – Замужество дочери. – Потомство Сперанского. – Состояние, оставленное Сперанским. – Его кончина. – Общий взгляд на историческое значение Сперанского и его деятельности

В июле 1816 года Сперанский снова обращается к Александру. “При удалении меня от лица Вашего, – пишет он, – В.И.В. соизволили мне сказать, что во всяком другом положении дел, менее затруднительном, Ваше Величество употребили бы много времени и способов на подробное рассмотрение моего поведения и сведений, до вас дошедших. С того времени доселе, *пятый год* находясь под гневом Вашего Величества, я не переставал, однако же, надеяться на разрешение судьбы моей. Время, вместо смягчения мне обстоятельств, ожесточает мое положение. Оно усиливает вероятность вменяемых мне преступлений, ослабляет способы к моему оправданию, стирает следы, по коим можно было бы еще дойти до истины, утверждает самою продолжительностью общее о вине моей мнение и вдали, в конце жизни, трудами, бедствиями и посрамлением исполненной, указует бесчестный гроб. Именем правосудия и милости, кои одни доставляют государям славу прочную и благословение небесное, именем их умоляю Ваше Величество обратить на судьбу мою всемилостивейшее Ваше внимание и решить ее так, как Бог Вам в сердце вложит”.

Вместе с этим письмом к императору Сперанский писал и Аракчееву, тогда уже всесильному. Свое обращение к нему Сперанский мотивирует нежеланием “подробностями обременять внимание всемилостивейшего государя”, но “зная любовь вашу к справедливости и преданность государю императору... просил бы

ваше сиятельство довести до сведения его величества то из них (подробностей), что изволите признать уважительным". Это обращение к "справедливости" Аракчеева является единственной неправильной точкой в этом последнем воззвании к правосудию со стороны Сперанского: "Умалчиваю здесь, что расстроено и почти разрушено маленькое мое состояние. Умалчиваю, что у меня дочь невеста, а кто же захочет или посмеет войти в родство с человеком, подозреваемым в столь ужасных преступлениях. Умалчиваю о множестве горестных для меня подробностей; *не желаю возбуждать сострадания там, где дело идет о справедливости".* Затем Сперанский просит для себя *гласного суда.* Если же это сочтено будет неудобным, то просит "доставить ему способ оправдать себя против слов не словами, а делами".

Теперь, среди глубокого мира, когда никакие чрезвычайные обстоятельства не могли долее оправдывать исключительных мер, отказать Сперанскому в правосудии или оправдании не подумал и Аракчеев. 30 августа 1816 года состоялся указ: "Перед началом войны, в 1812 году, перед самим отправлением моим к армии доведены были до меня сведения, которые заставили меня удалить от службы тайного советника Сперанского и д. ст. сов. Магницкого, к чему, во всякое другое время, не приступил бы я без точного исследования, которое в тогдашних обстоятельствах делалось невозможным. По возвращении моем приступил я к внимательному и строгому рассмотрению поступков их и не нашел убедительных причин к подозрениям. Потому, желая дать им способ усердной службой очистить себя в полной мере, всемилостивейше повелеваем: т. с. Сперанскому быть пензенским гражданским губернатором, а д. ст. сов. Магницкому – воронежским вице-губернатором". Таким образом, суда Сперанскому дано не было, а самое возвращение на службу, на должность, сравнительно с прежним, вполне незначительную, и редакция указа, предоставлявшая ему "очистить себя службою", явились лишь полуоправданием. Такая редакция указа была внушена Аракчеевым. Прибавим, что указ был дан 30 августа, в день тезоименитства императора, что еще более придавало ему значение скорее *милости,* нежели *справедливости.* Разрешению на переезд от Перми до Великополья тоже придан был тот характер"прощения тем, что состоялось оно в день обнародования *милостивого* манифеста, по случаю окончания войны, причем облегчена была участь многих преступников. Въезд в Петербург Сперанскому разрешен не был.

Губернатором в Пензе пробыл Сперанский с 30 августа 1816 года по 22 марта 1819 года, то есть два с половиной года продолжалась эта "очистительная" служба. Прибытие его в Пензу

сопровождалось преувеличенными ожиданиями пензенского крестьянства и общим опасением дворянства и привилегированных сословий. В народе говорили, что Сперанский официально был сослан за измену, но на самом деле, по наущению господ, за желание освободить крестьян, которым он и явится теперь защитник и заступник. Еще в 1812 году, немедленно после его падения, “многие помещичьи крестьяне даже отправляли за него заздравные молебны и ставили свечи”. Оправдать всех ожиданий народа, конечно, Сперанский был не в силах. Правда, он возбудил одно за другим два дела о жестоком обращении помещика с крестьянами, именно одно о засечении на смерть и другое об истязании, но эта защита от крайностей жестокости и угнетения и была все, что мог тогда предпринять наилучше настроенный губернатор. Встревоженные этим помещики успокоились однако, когда Сперанский скоро и энергично подавил крестьянские волнения, возникшие в одном из уездов. Симпатичность и даже обворожительность личности Сперанского довершили примирение дворянства с губернатором, и вскоре он стал очень популярен. Справедливость, доступность, бескорыстие, вместе с деловитостью и знанием дела, привлекли к нему общую любовь, и когда он через два с половиной года, покидая Пензу, “вышел из дому, народ столпился и, окружив его в слезах, не хотел пускать далее”. Стечение народа при его отъезде было громадное. Толпы народные провожали его до самого парома через реку и, сопровождая криками благословения, непритворно плакали. “Да и кто не благословлял бы его? – замечает современник, оставивший нам описание этих проводов, – кто мог им быть недоволен? Кто несчастный остался им неутешенным? Утро 7 мая на берегах Суры было истинным торжеством добродетели”.

Будучи только губернатором, Сперанский, однако, немедленно по снятии опалы, силой не зависящих ни от него, ни от Александра обстоятельств, оказался сейчас же у дел государственных. Его единомышленники, всегда умевшие высоко ценить его, Мордвинов и Кочубей, незадолго перед тем снова вернулись к делам государственным, состоя председателями департаментов государственного совета. Неудивительно, если они интересовались мнениями Сперанского по вопросам, которые поступали на их разрешение. Гораздо знаменательнее было отношение министра финансов Гурьева, делавшего оппозицию Сперанскому в бытность его у власти, а теперь пересылавшего к нему в Пензу на его заключение и оценку все свои проекты и планы. Гурьев даже решился при случае напомнить государю о той пользе, которую принес бы Сперанский, если бы был

возвращен к государственной деятельности, на что получил ответ, что это возвращение является лишь вопросом времени и даже скорого времени. Уведомляя Сперанского об этом обещании Александра, Гурьев так мотивирует свое непременное желание видеть Сперанского поскорее опять у кормила правления: “Юстиция и полиция суть спутницы финансов и они неразрывно должны идти вместе. Что же делать, если одна действует в духе 19 века, а другая несколько веков позади и ежели еще какая-то посторонняя сила домогается все обратить в состояние кочующих?.. Вы один в состоянии дать направление и совокупить к единству действия правительственных частей, ежели бы были введены в круг прежнего вашего положения”.[11] Таким же образом и другие люди, бывшие прежде в оппозиции Сперанскому (например, Трощинский), ныне желали его возврата, не говоря уже о Кочубее, Мордвинове и других, сохранивших либеральные мнения. “Посторонняя сила, домогающаяся все обратить в состояние кочующих” (проще говоря, всемогущество Аракчеева с его милитаризмом и тиранией и быстрое возвышение Голицына с его обскурантизмом), побуждала всех, кто еще не проклял все, чему поклонялся, и не поклонился всему, что проклинал, искать противовеса и опоры. Сперанский казался такою опорою, но возврат его в Петербург еще решен не был. Он получил несколько более важное назначение, но не в столице. 22 марта 1819 года состоялся указ о назначении Сперанского сибирским генерал-губернатором с чрезвычайными полномочиями для производства ревизии. Назначение это Александр сопровождал милостивым рескриптом, в котором признал, что враги Сперанского “несправедливо оклеветали его” и что задача, на него возлагаемая новым назначением, заключается в обличении злоупотреблений и в разработке плана реформы сибирского управления, каковой план поручалось ему привезти в Петербург для личного доклада императору. В частном собственноручном письме Александра, единовременно присланном, указывалось, что заслуга сибирской ревизии и реформы откроет ему, Александру, возможность поставить Сперанского в положение, “более сходное тому приближению, в коем я привык к вам находиться”. Тем не менее, Сперанский был очень встревожен сибирским назначением. Он опасался, не новая ли это ловушка, устроенная его врагами? 7 мая 1819 года отбыл Сперанский из Пензы, а 22 мая он уже прибыл в Томск, вступив в пределы Сибири, целого царства, данного ныне ему в полное распоряжение.

Это царство управлялось на иных началах, нежели русское царство в Европе. Как ни были неудовлетворительны русско-

европейские порядки того времени, сравнительно с сибирскими они могли казаться совершенством. Произвол и личное усмотрение правящих лиц заменяли в Сибири законы не только de facto, но почти de jure. В XVIII веке нередко приходилось сменять зарвавшихся чиновников военной силой. Это может служить примером слабого влияния центральной власти и самостоятельности и независимости сибирского управления. Меры же их произволу и деспотизму и вовсе не было. Это была поистине система сатрапий, где личная воля крупных и мелких тиранов заменяла собою и закон, и правосудие, и все инстанции, и ведомства управления. До особенного безобразия дошло дело при генерал-губернаторстве Пестеля, пользовавшегося покровительством Аракчеева. Он управлял Сибирью 14 лет и дал отличный пример системы сатрапий и пашалыков[12]. Сам живя почти постоянно в Петербурге для поддержания своего значения, он управлял Сибирью через окружного губернатора.

Дорожа местом и не злоупотребляя вниманием читателей, мы не отправимся за Сперанским в Сибирь и не будем вместе с ним обличать крупных и мелких грабителей и воров, целой ордой угнетавших забытый и отдаленный край. Скажем только о результатах ревизии.

“Ревизия его, – замечает барон Корф, – более была совестна, чем строго соответствовала законным формальностям, и многое в ней было окончено собственной его властью, без мер особенно крутых, но, однако же, и без послабления”. Сперанский постоянно держался мнения, что виновны не люди, а установления, и что “неправильный ход дел введен и терпим был многолетними попущениями”. Сперанский не столько желал карать прошлое, сколько обеспечить будущее. “При всем том в окончательном выводе ревизии, несмотря на множество решенного на месте, все еще оказалось 73 дела, следовавшие к высшему рассмотрению, и по ним насчитывалось обвиненных 680 человек и сумм к взысканию на 2 850 000 руб.” Два губернатора, иркутский – Трескин и томский – Илличевский, были отданы под суд с устранением от службы. Эта ревизия произвела громадное впечатление в Сибири и впервые показала сибирякам, что порою и для них может найтись правосудие и справедливость. Сперанский без всякого сомнения первый поднял в Сибири знамя *законности.* Такова была задача его ревизии; по возможности *упрочить* законность в сибирской жизни и управлении было задачей его реформы, или, как он сам выражался, “преобразить личную власть в установление и, согласив единство ее действия с гласностью, охранить ее от самовластия и злоупотреблений законными средствами, из самого порядка дел возникающими, и

учредить ее действие так, чтобы оно было не личным и домашним, но публичным и служебным".

Конечно, Сперанский, ставя себе подобную задачу, не мог обманывать себя и ласкать иллюзией ее выполнимости в полном объеме. Сама Европейская Россия требовала еще очень многого, чтобы ответить поставленному здесь идеалу, но она отвечала ему более, нежели Сибирь, гораздо более уже хотя бы потому, что для нее, в сознании управляющих и управляемых, идеал законности был уже признан, как задача и цель. В Сибири времен Сперанского и это было новостью. Беззаконие и личное усмотрение всесильного сатрапа (на всех ступенях власти, от генерал-губернатора до исправника и волостного писаря) было фактом, освященным признанием правительства и сознанием населения. Поэтому-то, если надежда дать Сибири учреждения, осуществляющие всю намеченную задачу, была бы со стороны Сперанского странной иллюзией, то попытка возвысить сибирские порядки до русско-европейских представлялась задачей, не безнадежной и вполне достойной труда и заботы. Эту задачу реформа Сперанского решала вполне, и всякая критика этой реформы с иной точки зрения была бы несправедлива и нелогична. Только на высшее гражданское сознание и высшее государственное понимание метрополии можно было опереться, реформируя низший гражданский строй колонии. Естественно, что превзойти в этой реформе меру гражданского и государственного развития метрополии было совершенно невозможно. Только работая над совершенствованием русского государственного и гражданского развития и порядка вообще, можно было надеяться, в частности, достигнуть и дальнейшего совершенствования сибирского строя и сибирского сознания. Единственно, что можно было требовать от Сперанского, чтобы, поднимая Сибирь до Европейской России, он избегнул насаждения в Сибири тех сторон русско-европейского строя, которые хотя и соответствовали той стадии государственного и гражданского развития, на которой тогдашняя Россия стояла, но являлись препятствиями на пути ее дальнейшего развития. Крепостное право и частное крупное землевладение были этими главными тормозами – и их не знала Сибирь. Сперанский не допустил их распространения на Сибирь. В остальном его сибирское учреждение было не более как насаждением русско-европейского строя управления, очень умно и искусно примененного к местным условиям. "Все они (учреждения), – писал Сперанский, – представляют более план к постепенному образованию сибирского управления, нежели внезапную перемену".

Если реформировать сибирское управление так, чтобы оно полноправному русскому населению Сибири давало те же права и те же гарантии, какими это население пользовалось в Европейской России, – и было главной кардинальной задачей реформы, то нельзя было забыть и два другие неполноправные элемента сибирского населения, инородцев и ссыльных. Сперанский обратил самое серьезное внимание и на эти вопросы, и все, что сделано в ограждение и обеспечение быта этих парий Сибири, было предложено и проведено Сперанским. Им же впервые было отрегулировано переселение казенных крестьян Европейской России на свободные земли в Сибири. Не перечисляем массы менее важных проектов и планов, вывезенных Сперанским из Сибири. Нимало не впадая в преувеличение, можно повторить мнение, выраженное графом Уваровым о значении миссии Сперанского, именно, что история Сибири под русским владычеством разделяется на два периода: от Ермака до Сперанского и после Сперанского (мы сказали бы: на период сатрапий и на период бюрократический).

22 марта 1821 года, через девять лет и пять дней после высылки, въехал Сперанский вновь в Петербург с результатами своей ревизии и с обширным проектом сибирской реформы. Александр был в отсутствии на конгрессе, так что только 6 июня состоялось их первое свидание. Прием был холодный. Однако, в награду за труды, Сперанскому была пожалована земля в Пензенской губернии, и вместе с тем состоялось его назначение членом государственного совета. Ревизия его разрешена была во всем согласно его представлению, а равно и проекты одобрены за незначительными изменениями. Самое существенное изменение заключалось в том, что отвергнуто его предложение об освобождении подзаводских удельных крестьян Алтайского горного округа. Покупка в рабство инородцев, однако, была запрещена. Рассмотрение и окончательная редакция всего этого громадного труда заняла более года, и только 22 июля 1822 года состоялось высочайшее утверждение нового сибирского учреждения, но вместе с этим утверждением почти прекратились и личные свидания с императором, который совершенно охладел к своему прежнему любимцу. Надежды, возлагавшиеся столь многими на возвращение Сперанского, нимало не оправдались. Бывший государственный секретарь менее кого-либо другого оказался в силах стать противовесом всемогуществу Аракчеева и обскурантизму Голицына и его сподвижникам, Магницким, Руничам и др. К тому времени относится составленная Сперанским записка в защиту военных поселений, в угоду Аракчеева. Единственным смягчающим обстоятельством этого

самого дурного дела его жизни может служить лишь то, что Сперанский при этом добивался издания точного устава о военных поселениях, который бы поставил закон на место усмотрения начальства. Но его-то Аракчееву и не было надобно, и эта затея Сперанского не получила осуществления.

Главное поручение, возложенное на Сперанского в эти последние годы правления Александра, было опять то же *уложение,* которое им составлялось и редактировалось в 1808 – 1812 годах и которое затем было переделано Розенкампфом. Снова пересмотренное и переделанное Сперанским, оно опять поступило в государственный совет, где, однако, до дня кончины Александра рассмотрением окончено не было. С воцарением императора Николая делу этому дан был совершенно иной ход. Кончина Александра открыла Сперанскому новые перспективы деятельности государственной, хотя уже в совершенно иных условиях и с совершенно иными задачами. Не реформировать существующий строй, а прочно его организовать было поставлено задачей внутренней политики. В этой задаче была отведена и Сперанскому своя роль, соответствующая его способностям и его специальности. Долгое время Россия и знала своего великого государственного человека почти исключительно по совершенному им в этот старческий период его государственной деятельности. При воцарении Николая ему было 54 года. *Сперанский-кодификатор* надолго заслонил собою *Сперанского-реформатора.* Издание *Полного собрания законов* и составление *Свода законов* составляют громадную заслугу Сперанского в это время, последний подвиг труда на пользу родины и ее гражданственности. В этом труде, по словам барона Корфа, лично сотрудничавшего Сперанскому в работах по кодификации, в этом труде у него была “еще и другая, более отдаленная цель, именно через извлечение наших законов из прежнего хаоса и через большую доступность их перевоспитать умы, ввести народ в юридическую среду, расширить его понятия о праве и законности и таким образом усилить его восприимчивость к высшему кругу идей и к большему участию в мерах, для него самого предпринимаемых”. В это же время, все с той же целью, Сперанский заботится о развитии высшего юридического образования в России. В наших университетах юридические факультеты были очень плохо поставлены и блистали совершенным отсутствием русских профессоров. Русское правоведение не преподавалось вовсе. Вернее, его вовсе не существовало. Сперанский настоял на изменении этого порядка, или, вернее, этого непорядка. По его выбору около десятка молодых людей были посланы за границу на лучшие

юридические факультеты для теоретической подготовки к правоведению с тем, чтобы потом стать основателями и пионерами русского правоведения. Если скажем, что в числе этих избранных Сперанским молодых юристов были Неволин, Баршев, Куницын, Редкин, то нельзя не признать за Сперанским заслуги насаждения в России высшего юридического образования. Сам он тоже деятельно готовил практических юристов, продолжателей его кодификационных трудов. Но, несомненно, важнее этого было возложенное на него императором Николаем преподавание основ правоведения наследнику престола, будущему императору Александру II. Принципиальное сходство многих из реформ, осуществленных в правление Александра II, с некоторыми частями плана реформ, проектированных Сперанским, едва ли можно почитать единственно делом случая.

В правление императора Николая пришлось Сперанскому заседать еще в верховном уголовном суде по делу декабристов[13] и в так называемом комитете 6-го декабря, учрежденном в первый год правления Николая с целью обсудить, не нуждается ли наше гражданское устройство в каких-либо улучшениях и преобразованиях. Задачи были, впрочем, заранее очень ограничены. Здесь Сперанский пробовал вновь поставить на очередь свой проект преобразования сената, уже рассмотренный государственным советом в 1812 году, но, за падением его автора, оставшийся не приведенным в исполнение. Эта попытка Сперанскому не удалась; более успеха имело его старание положить начало ограничению крепостного права, в виде воспрещения продажи людей без земли, продажи членов семьи в разные руки и пр. Эти ограничения, одобренные комитетом 6-го декабря, были, с одобрения императора, внесены в государственный совет, который и принял их, но Июльская революция в Париже и последовавшие затем революции – польская и бельгийская, – побудили отложить и это осторожное заявление против крепостного права. Сперанскому не пришлось дожить до каких-либо мер в пользу крестьян. Осыпанный милостями молодого императора, произведенный в действительные тайные советники, возведенный в достоинство графа, назначенный председателем департамента законов государственного совета, награжденный орденом Андрея Первозванного, он скончался в Петербурге шестидесяти семи лет 18 февраля 1839 года...

Личная жизнь Сперанского после возвращения из ссылки очень бедна событиями. Выход замуж его дочери Елизаветы Михайловны за Фролова-Багреева, племянника Кочубея, был самым заметным событием за последние восемнадцать лет его

тихой, трудовой жизни. После себя он оставил дочь с двумя детьми, внуком Михаилом, убитым на Кавказе в 1844 году, и внучкой, в замужестве княгиней Кантакузен. Детям этой единственной ветви нашего государственного деятеля разрешено было присоединить к своей фамилии и своему титулу князей Кантакузен фамилию и титул графов Сперанских. Кроме этого знаменитого имени, в наследство своим внукам наш реформатор оставил после себя имение в 2 900 душ и 600 тысяч рублей долга, то есть никакого состояния...

Таков был скромный баланс *личной* жизни великого государственного человека. Не так легко и просто подводится баланс его огромной и разносторонней деятельности, его *исторической* жизни. "Изумительное творчество сильной мысли, – замечает г-н Филиппов, – громадная энергия и неустанная жажда деятельности, *вся* постоянно *обращенная,* в той или другой форме, *на осуществление начала законности* в управлении государством, – вот что отличает Сперанского с первых до последних минут его жизни". Нельзя удачнее прорезюмировать ту сущность и то направление громадной работы знаменитого деятеля, которые одним истолкованием объединяют оба периода его деятельности. Возьмем ли первый период, исполненный преобразовательных планов и широких надежд, мы должны признать, что центральною задачею этих планов и надежд является полное торжество идеи законности. Когда, надломленный жестокими превратностями личной судьбы своей, Сперанский снова возвращается на государственное поприще, он является к этому новому служению с тем же знаменем законности в руках. Он уже не дерзает добиваться ее полного торжества над беззаконием и произволом, но к ее росту и возвышению направлены все его усилия. Сибирская реформа стремится поднять значение законности в Сибири хотя бы до уровня, на котором исторический момент реформы застает ее в Европейской России. Громадный подвиг кодификации является тоже значительным шагом по этому пути. Заботы о высшем юридическом образовании в России, преподавание правоведения наследнику престола, проекты, внесенные в комитет 6-го декабря, – все направлено к тому же, все одушевлено мыслью укрепить и возвысить идею законности, столь пренебрегаемую эпохой, в которой пришлось работать и действовать Сперанскому. Нельзя отказать ему и в том, что это было не одно только стремление и доброе желание, но что ему действительно удалось многое сделать и еще более того подготовить для роста и торжества законности в русском строе гражданской и государственной жизни.

Сама идея законности, однако, может осуществляться при весьма различных общественных условиях и торжествовать над далеко не одинаковыми формами государственной и гражданской жизни. Само рабство может быть законным учреждением, не говоря уже о привилегиях, монополии, экономической кабале и других способах, какими человечество привыкло заменять рабство, когда история делает его в обнаженной форме более невозможным. То же самое относится и ко всем другим формам общественной жизни. Идея законности, отвлеченная от условий и форм осуществления, является тем мертвым и мертвящим доктринерством, которое создало знаменитое изречение: pereat mundus, fiat justitia[14], и которое не знает и не желает знать, что и сама законность существует для людей, а не люди – для законности. Сперанского нельзя упрекнуть в этом сухом, гелертерски-ограниченном доктринерстве. Отнюдь не был он политическим индифферентистом и имел очень ясные представления и идеалы не только более законного, но и более справедливого, более благодетельного гражданского строя. Первый период его государственной деятельности и отличается тем, что полное торжество идеи и законности в задачах его деятельности тесно и неразрывно связывается с таким же торжеством справедливости, просвещения, свободы, общего благосостояния. Существенное отличие второго периода именно в том и заключается, что это единство лучшей формы и лучшего содержания было нарушено, и государственная деятельность Сперанского все более и более сосредоточивает свои задачи около формы (законность) и все более упускает из виду содержание (справедливость). Время делало такое разложение исторически необходимым, и Сперанский лишь подчинялся этим новым условиям деятельности. Можно только оговориться, что в первый период своей государственной деятельности он не подчинился бы им.

Мы говорили выше, в своем месте, достаточно подробно о *содержании* преобразовательных планов Сперанского, чтобы теперь снова повторять сказанное, но не можем не указать в заключение на действительное значение, которое имело в нашей истории то, что осуществилось из преобразовательных планов Сперанского. Его стремление ограничить силу и власть бюрократии организованной силой и властью общества не получило осуществления, но лучшая, более совершенная организация самой бюрократии стала законом и вошла в жизнь. Его планы местного самоуправления и децентрализации остались в проекте, но стройное распределение управления между центральными ведомствами было проведено в жизнь. Таким

образом, по идее враг бюрократической опеки и централизации, Сперанский оказался в конце концов организатором именно бюрократии, облегчившей централизацию и опеку. Указ в августе 1809 года, очистивший бюрократию от невежественного чиновничества и повысивший образовательный ценз для вступления в ряды бюрократии, хотя и вызвал вражду и ненависть чиновничества того времени, но вообще отозвался возвышением его роли и значения. Еще важнее указ 3 апреля 1809 года, сломивший привилегию природного вельможества над бюрократией. В XVIII веке сановники выходили из вельмож, в XIX же вельможи стали выходить из сановников; в XVIII веке человек становился сановником, потому что был вельможей, в XIX – он становится вельможей, потому что стал сановником. Это развитие от аристократизма к бюрократизму было общим течением нашей истории рассматриваемого периода. Не Сперанский его создал; он даже желал бороться с ним, но сила исторического течения откинула в его трудах все, что противоречило этому прогрессу бюрократического начала, и осуществила все, что ему помогало и содействовало. Русское вельможество и русское дворянство, соединившиеся в 1808 – 1812 годах с бюрократией в борьбе против Сперанского, сами подписали свой приговор и вычеркнули себя из самостоятельных исторических элементов нашей жизни. Страх за крепостное право, политическая недальновидность и мелкие своекорыстные личные счеты увлекли их в этот недостойный союз против великого государственного человека, желавшего призвать русское общество к исторической жизни и освободить его от тесных помочей бюрократической попечительности. Ослепленные злобой, с остервенением вельможи и дворяне того времени набросились на одинокого реформатора, сильного только логикой, патриотизмом и гениальным предвидением. Его клеветало, оскорбляло, унижало то самое общество, среди которого он подъял этот громадный и смелый труд; но этому же самому обществу, этому же самому поколению Пушкин бросил в глаза, хотя и по другому поводу, упрек:

Жрецы минутного! Поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается пустой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиленье!..

И для Сперанского, по-видимому, наступил уже этот срок посмертного признания и оценки.

Источники

Литература о Сперанском довольно значительна и богата, но нельзя сказать, чтобы она была исчерпывающе или просто в должной мере использована в какой-либо монографии. На иностранных языках можно указать на Гервинуса, Талландье, Тургенева, на автобиографию и другие. Гораздо значительнее литература о Сперанском на русском языке, где после биографии, составленной тридцать лет тому назад бароном М. А. Корфом, который для своего времени вполне удовлетворительно воспользовался имевшимися материалами и источниками, вышло много новых материалов, официальных документов, мемуаров, частных исследований и пр. Никто не предпринял, однако, труда свести эти новые материалы и повторить работу барона Корфа на более широких фактических основаниях. Конечно, и наше краткое жизнеописание Сперанского не может претендовать восполнить этот пробел. По самому характеру и задаче всего издания, в которое этот биографический очерк входит как часть в целое, тут не может быть отведено достаточно места самостоятельному исследованию по источникам и непрокритикованным материалам. Непосредственными источниками при составлении этого биографического очерка послужили следующие сочинения и статьи, расположенные в хронологическом порядке их появления:

1. Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. В 2-х т. СПб., 1861.

2. *Чернышевский Н. Г.* Русский реформатор. – Современник, 1861, № 12.

3. Погодин М.П. Николай Михайлович Карамзин. В 2-х т. – Москва, 1866.

4. *Карамзин.* О древней и новой России. – Русский архив, 1870.

5. *Иконников В.С.* Граф Мордвинов. – СПб., 1873.

6. Романович-Славатинский. Государственная деятельность графа М.М. Сперанского. – Отечественные записки, 1873, №4.

7. *Ядринцев Н. М.* Сибирь, как колония. – СПб., 1882.

8. Де Сенглен Ф. И. Записки. Часть III и IV. – Русская старина, 1883, № 1, 2, 3.

9. *Пыпин А. Н.* Общественное движение при Александре I. Изд. 2-е. – СПб., 1885.

10. Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и XIX вв. В 2-х т. – СПб., 1888.

11. Филиппов А.Н. Значение Сперанского в истории русского законодательства. – Русская мысль, 1889, № 4.

notes

Примечания

бесформенного здания управления империей *(фр.)*

и, наконец, увенчать эти различные институты гарантией, предоставленной в конституции, установленной в нынешнем духе нации (фр.)

3

Об этих любопытных и благородных отношениях находим у барона Корфа следующие сведения: “Кроме Брюкнера, Сперанский, в тогдашнем своем положении (домашнего секретаря у Куракина), приятельски сошелся с двумя камердинерами общего их барина (?): Львом Михайловым и крепостным человеком князя А. И. Лобанова-Ростовского, Иваном Марковым, тоже, по должности своей, немаловажными лицами в доме. Оба часто имели возможность и случай оказывать ему разные услуги, и он никогда не забывал их одолжений. Льва Михайлова Сперанский, уже бывши государственным секретарем и на высшей степени власти, во всякое время охотно к себе допускал и осыпал ласками. С Иваном Марковым он снова встретился уже позже, в бытность свою Пензенским губернатором. Марков, давно оставивший дом Куракиных, имел тогда в Пензе какую-то надобность до начальника губернии и ожидал в передней в числе других просителей. Сперанский, выйдя из своего кабинета, тотчас его узнал и, бросясь к нему со словами:

“Иван Маркович, старый знакомый!” – стал его обнимать и рассказал в общее услышание о прежних отношениях. Вот еще один анекдот в том же роде и не более важный по существу, но столько же поясняющий характер человека. Главная прачка в доме Куракиных, жена одного из поваров, усердно стирала незатейливое белье молодого секретаря, который из благодарности был восприемником одного из ее сыновей и в день крестин провел у нее целый вечер. Много лет спустя Сперанский однажды гулял со своей дочерью по набережной на Аптекарском острове. В ту пору прачка, выполоскав белье в реке, возвращалась через набережную в дом. Завидев гуляющих и тотчас узнав знакомого, она хотела было отойти в сторону, чтобы не сконфузить его при молодой даме своим знакомством. Но Сперанский, который тоже тотчас припомнил и наружность, и даже имя ее, закричал: *Марфа Тихоновна, куда ж ты так от меня бежишь? Разве не узнаешь старого приятеля?* И, подозвав ближе к себе, он взял ее за руку и сказал ей несколько тех приятных и ласковых слов, на которые был такой мастер”.

беспошлинный ввоз товаров *(ит.)*

5

Надо помнить, что Россия в это время находилась в союзе с Францией и войне с Англией, с которой находилась в войне и вся континентальная Европа, благодаря чему только американские суда могли посещать русские порты.

6

“иллюминат” – *(лат.* illuminatus – освещенный) – член тайного общества, основанного в конце XVIII века Адамом Вейсгауптом; показной целью общества было распространение нравственных начал и просвещения; действительная же цель заключалась в замене христианства деизмом и монархии республикой; по внешним чертам своей организации иллюминаты частью походили на иезуитов, частью – на масонов; общество просуществовало недолго и в результате преследований было ликвидировано.

7

Нельзя не упомянуть, кстати, о сведении, сообщаемом профессором Иконниковым, что “сначала (1810 год) Карамзин было заискивал покровительства Сперанского”. А между тем 1810 год так близок к марту 1811 года, когда подана *Записка* Карамзина, и в 1810 году было уже осуществлено почти все, критикуемое в *Записке* 1811 года.

8

По выходе в свет первых томов *“Истории государства Российского”,* в1816 году, Карамзину была пожалована Анненская лента за исторические труды; но при этом, по свидетельству графа Блудова, государь дал ему знать, что награждает не столько за его историю, сколько за его *“Записку о древней и новой России”.*

то есть что это была просто карта Европейской России и дана она была, стало быть, с ведома и согласия самого Барклая.

лицемером *(гр.)*.

11

Гурьев вообще после падения Сперанского держал себя относительно опального вполне благородно. Делая ему раньше того оппозицию, этот человек, очевидно, не ожидал, на руку какой интриге он играет. Еще когда Сперанский был в ссылке, он Гурьеву же был обязан назначением ему содержания, а затем и восстановлением ранее пожалованной ему аренды. Упомянутое только что его предстательство за Сперанского было тоже своего рода гражданским мужеством, потому что могло вызвать неудовольствие Аракчеева. Нельзя поэтому ставить в особую укоризну Сперанскому слишком хвалебного тона, отличающего его письма к Гурьеву в это время. Было бы, конечно, достойнее сохранить ту моральную независимость, которая так отличала Сперанского раньше и была несовместна с лестью. Но tempora mutantur et nos mutamur in illis (времена меняются, и мы меняемся с ними *(лат.)* – ред.). Гораздо хуже его переписка с Аракчеевым за это время.

12

“пашалык” *(турецк.)* – вбывш. султанской Турции область, управляемая пашой.

13

Сперанский заседал в этом суде в качестве члена государственного совета. Его многие упрекали за согласие его с суровым приговором, произнесенным над декабристами этим судилищем. Известно, однако, что Сперанский высказался против смертных казней.

пусть погибнет мир, но совершится правосудие *(лат.)*